Д. М. ХРЕНКОВ

Александр Гитович

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга посвящена жизни и творчеству известного ленинградского поэта Александра Гитовича. Д. Т. Хренков, используя личные воспоминания, малоизвестные, а подчас и неизвестные материалы, создает живой облик человека и поэта, рисует окружавших его людей, передает атмосферу времени.

- Дм. Хренков. АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ
  - Предисловие и посвящение
  - Артель художников слова
  - «Разбег»
  - Год призыва 1909-й
  - Поэзия, будь на ногу легка!
  - Невыполненное задание
  - «Асторийская декларация»
  - «Пиры в Армении»
  - Угощаю стихами
  - Рукопожатие через тысячу лет
  - Послания друзьям
- notes
  - 1
  - 2

Дм. Хренков. АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ Литературный портрет

Предисловие и посвящение

С поэзией Александра Гитовича люди моего поколения познакомились и подружились до войны. Мы были тогда допризывниками, и острое «чувство присяги» жило в нашей крови.

Еще не хлебнув студеных ветров в заснеженной Финляндии, не изведав горечи сорок первого, не научившись «из трехлинейки бить», мы, подобно поэту, больше всего боялись не смерти как таковой, а «смерти в кровати». Великая Отечественная война еще больше укрепила нашу дружбу, и, когда на фронте я наконец лично познакомился с Гитовичем, ему не нужно было рассказывать о себе — все о поэте я знал из его стихов.

Наблюдая жизнь и работу Гитовича в самых сложных обстоятельствах фронта, а потом и в послевоенное время, я понял, что мужество и благородство были отнюдь не темой его поэзии, а самой сутью ее.

Однажды я сказал об этом А. А. Ахматовой.

«Вы непременно должны написать об Александре Ильиче, — сказала Анна Андреевна. — Как это верно — не темой, а сутью! Не откладывайте дела в долгий ящик».

Анна Андреевна тут же развила передо мной примерный план статьи о Гитовиче, обещала извлечь из своих тетрадей записи, которые она вела, общаясь с Александром Ильичом на протяжении двух десятков лет. Она не успела выполнить свое обещание. Но друзья поэта помогли мне собрать материал для этой книжки. Им — моя бесконечная благодарность и прежде всего — вдове поэта, С. С. Левиной, моей доброй помощнице и советчице.

Артель художников слова

Может быть, рассказ о поэзии Александра Гитовича мне нужно было бы начать сразу со стихотворения «Андрей Коробицын». И не только потому, что я сам познакомился с творчеством поэта именно после того, как прочел это стихотворение, но и потому, что с него, как мне кажется, действительно вошел в литературу тот Александр Гитович, которого сегодня знают все любители поэзии. Но коль скоро я пытаюсь сделать набросок литературного портрета, мне придется не ограничиваться личными впечатлениями.

Я рискну пригласить читателя в губернский Смоленск. Здесь в 1909 году родился поэт. Здесь он прожил до совершеннолетия. Смоленск детства и ранней юности Гитовича был городом тихим. Казалось, после бурных событий, прошумевших в веках над ним, он дремал на приднепровских холмах, выставив вокруг уши сторожевых башен.

Великий Октябрь разбудил древний Смоленск, сделал его оплотом советской власти в губернии. С каждым годом огни его становились виднее, притягательнее для всей Смоленщины. Здесь концентрировались культурные силы, работал театр, издавались газеты, здесь всего заметнее были плоды большой созидательной работы советской власти по преображению России. Отсвет городской жизни ложился, как отмечал А. Твардовский в своей статье о Михаиле Исаковском, и на сельский быт. «Я и мои литературные сверстники рвались к той городской жизни, с высот которой, пожалуй, готовы были и попечалиться о прелестях деревни, растроганно вспомнить о „вечернем несказанном свете“, курящемся над ее избушками, — писал он. — Но, живя в избушках, где еще не был забытым предметом домашней утвари и светец для лучины, мы не могли не видеть куда большей поэзии в огнях, проникающих в наши избушки „по медным проводам“, что было в те годы еще редким чудом деревенского быта».

Смоленские поэты, имена которых вошли в летопись советской литературы и с которыми связаны многие крупные успехи нашей поэзии, тогда еще лишь пробовали голос. Литературная жизнь города первых послеоктябрьских лет теплилась в кружках да немногих студиях. Одной из таких студий была артель художников слова «Арена».

В 1923 году Вячеслав Шишков писал в журнале «„Красная новь“: „Арену“ основали и отстроили собственными руками, продав последние сапоги и брюки, два поэта, Николай Лухманов и Борис Бурштын».

Называя «Арену», Шишков имел в виду не саму артель, а только детище ее — Клуб поэтов — место занятий этого литературного объединения.

Более подробные сведения об «Арене» мне сообщил М. В. Исаковский. Он приехал в Смоленск в 1921 году и застал здесь работавшую во всю литературную студию Пролеткульта. Она объединяла всех, кто писал (главным образом, поэтов). Один за другим мелькнули холодным светом два небольших сборничка стихов — «Паяльник № 1» и «Паяльник № 2», да так и погасли, не согрев и не обласкав никого.

«После того как литературная студия была ликвидирована, настала „эпоха“ „Арены“. Никакой сколько-нибудь четкой идеологической программы у „Арены“ не было. „Арена“ арендовала небольшое помещение, состоящее из зала и небольшой комнатки за сценой. Она очень часто (мне помнится даже, что ежедневно) устраивала вечера, на которых выступали ареновцы со своими произведениями, а другие ареновцы, а также желающие из публики критиковали эти произведения. Вход в „Арену“ был платный. Но плата была очень небольшой и взималась она лишь затем, чтобы оплатить стоимость помещения».

В 1963 году к 1100-летию Смоленска вышла коллективная книга смоленских писателей «Ключ-город». В ней напечатаны воспоминания Б. С. Бурштына, известного любителям поэзии своими переводами (он выступал под псевдонимом Б. Иринин). Бурштын отмечал большую разношерстность «Арены». В нее «проникали люди, ничего общего с советской поэзией не имеющие и пытавшиеся протаскивать с ее трибуны свои глубоко реакционные и враждебные стихи, — писал он. — Непростительная терпимость членов правления артели к любым выступлениям с подмостков клуба, замкнутость наша и изолированность от широкой рабочей общественности, отсутствие четко сформулированных творческих установок — все это, безусловно, было налицо в первый год существования „Арены“ и давало повод подозревать нас и публично обвинять в грехах гораздо более серьезных, нежели те, в которых мы действительно были повинны».

В ноябре 1923 года в «Арене» произошла перестройка. Было избрано новое правление. В его состав вошли коммунисты и комсомольцы, в том числе (правда, несколько позднее) М. Исаковский. На занятия стали приглашать рабочую молодежь, да и сами студийцы искали новые аудитории. Недаром губернская газета «Рабочий путь», столь часто критиковавшая прежде «Арену», вскоре признала: «Клуб „Арены“ уже не вмещает всех

желающих быть на ее вечерах. „Арена“ стала авторитетной организацией. Ее приглашают работать к себе Губпартклуб имени Ленина и Дом Красной Армии».

Заметно изменился и характер студийной работы. Теперь здесь не только читали и разбирали прочитанное, но и устраивали диспуты, доклады, посвященные творчеству классиков, проводили турниры острословов, конкурсы экспромтов, а вне клуба — большие литературные вечера, ставшие заметным явлением культурной жизни Смоленска.

Не случайно судьба привела на Маловознесенскую улицу, в Клуб поэтов, школьника Александра Гитовича. В Первой показательной школе он считался признанным поэтом. Вместе со своим закадычным дружком он даже издавал рукописный журнал «Двое». Страницы его были сплошь заполнены их собственными стихами. Чаще всего авторы оказывались и единственными читателями журнала.

В «Арену» Гитович пришел, чтобы приобщиться к настоящей поэзии. Он был беззаветно влюблен в нее, читал стихи утром, днем на уроках в школе, дома за обедом, забывая обо всем другом.

В написанных в 1934 году воспоминаниях того же Б. Бурштына есть любопытные строки:

> «14-летний Александр Гитович… был настоящим начинающим поэтом. Поэтому и на письмо, полученное от его родителей и сообщавшее о том, что их сын из-за своего увлечения поэзией перестал учиться и рискует остаться на второй год, мы не могли реагировать так, как этого хотелось бы нашим корреспондентам. Мы, правда, побеседовали с Гитовичем, постарались убедить его в том, что только образованный человек может быть по-настоящему хорошим поэтом, но лишать его права выступлений с трибуны клуба и, тем более, права посещения наших вечеров, о чем просили его родители, мы не сочли возможным».

И дальше:

> «Забавным контрастом семидесятипятилетнему Гришечко-Климову являлся на вечерах „Арены“ самый юный поэт Александр Гитович. По его внешнему виду аккуратненького и опрятненького мальчугана — трудно было поверить, что он серьезно и много работает над своими стихами».

Гитович отличался удивительной памятью: как-то в клубе он похвастался, что может одно за другим прочесть сто стихотворений современных поэтов. Ему не поверили, но скептики были посрамлены.

«Арена» страдала многими недостатками. Тем не менее она помогла юному стихотворцу приобщиться к лучшим образцам русской поэзии, на всю жизнь сохранить уважение к строгой, предельно прозрачной форме стиха.

Вскоре рядом с «Ареной» появилось другое литературное объединение. Поначалу оно было не столь многочисленным, не могло похвастать авторитетом среди интеллигенции города. Но именно ему предстояло в ближайшее время задать тон в литературном Смоленске, вывести смоленских поэтов на всероссийскую трибуну. Речь идет о литературном объединении при губернской газете «Рабочий путь». Здесь собрались преимущественно молодые люди, приехавшие в город из деревни. У иных за плечами была активная работа на селе в качестве избачей, активистов сельских комсомольских ячеек, другие еще не знали основ стихосложения, но умели идти за плугом, сеять и жать. Они не могли померяться силами с ареновцами в знании истории литературы, зато отлично разбирались, «в каком идти, в каком сражаться стане». Из их числа вышли Александр Твардовский, Николай Рыленков, Дмитрий Осин. Руководил объединением Михаил Исаковский.

Исаковский и его единомышленники понимали свою ответственность за литературные дела в Смоленске. Они безжалостно критиковали ареновцев, но вместе с тем охотно протягивали им руку помощи, если видели, что те хотят приобщиться к жизни, помочь советской власти.

Неудивительно, что М. Исаковский заметил способности юного Гитовича, сразу же выделил его из числа остальных ареновцев. Именно «Рабочий путь» впервые напечатал стихи четырнадцатилетнего поэта. Это были стихи, посвященные В. И. Ленину.

Прошло еще немного времени, и стихи Гитовича стали более или менее часто появляться на страницах смоленских изданий. Однажды их напечатали даже в «толстом» столичном журнале, но в фамилии автора была допущена опечатка: под стихами стояла подпись: «Александр Гитич».

Гитович был сыном своего времени. Он бесконечно завидовал старшим, которые, подобно Н. Асееву, могли сказать о себе:

Не сынки у маменьки
В помещичьем дому, —

Выросли мы в пламени,
В пороховом дыму.

Слово «революция» чаще всего на все лады варьировалось в его стихах. Он писал о революции, вернее, о внешних атрибутах ее — штурмах, выстрелах, кострах, боях и походах. Надо ли говорить, что это были книжные перепевы, только в некоторых стихотворениях проблескивало что-то отдаленно напоминающее собственные впечатления. Вот, например, стихи «Кинематограф», помеченные 1923 годом:

Помню ясно:

Была в шинели,
В красноармейской зеленой каске,
Из-под темных ресниц смотрели
Глаза серебристо и ласково.
— Проходите, вход бесплатный, —
Сказала с мягкой улыбкой…
На экране серые пятна
Плавали быстрыми рыбками,
Вошел…
Крепкий запах махорки,
И дыма белесым туман…

Кто-то из ареновцев дал Гитовичу сборник Гумилева. Почти одновременно он познакомился и с творчеством Киплинга. Эти два поэта оказали большое влияние на юного стихотворца: мальчик, жаждавший романтики, увлекся суперменами Киплинга и Гумилева. Прошло немного времени, и он прочел первые две книги стихов Николая Тихонова. В них он нашел то, к чему рвалась его душа. Книги Тихонова покоряли пафосом мужества и подвигов, свершенных во имя революции. Конечно, они не заслонили прежних увлечений юного поэта, но сыграли не малую роль в его поэтическом формировании.

Незадолго перед окончанием школы Гитович познакомился с приезжавшим в Смоленск критиком В. Друзиным. Он читал гостю стихи, сумел заинтересовать ими, и, уезжая, Друзин увез к Тихонову несколько стихотворений Гитовича.

7 октября 1927 года Друзин сообщал Гитовичу:

«Может быть, Вы успели забыть, что Саянов заведует литстраницей „Смены“, а Тихонов (совместно со мной — хотя правильней было бы сказать наоборот) —

редактирует литстраницу „Лен. правды“.

Итак, тот факт, что стихи Ваши приняты к печати, — косвенно указывает на мнение сих достопочтенных писателей о Ваших талантах. Подробности же сводятся к следующему: Тихонову я показал только „Куда завели нас…“. Он прочел и сказал: „Сыровато“. Затем с усмешкой: „Есть обороты из „Браги““. Я ответил: „Обстановочка из „Браги““. Он засмеялся — „Вот, вот“. Я сказал: „Напечатать можно“. Он кивнул в знак согласия. Стих был принят.

Саянову я показал все 3 стиха (кроме ответа Уткину).

Он прочел со вниманием и сказал, что стихи ученические — сделаны по акмеистическим принципам, — но есть в них нечто живое и поэтическое, и что они, пожалуй, лучше стихов Фиша.

Гордитесь, юный поэт! Вы уже перекрыли Фиша!

Советую Вам по понедельникам наведываться к Исаковскому в „Рабочий путь“ — у него есть все лен. газеты. А стихи Ваши должны быть напечатаны в ближайшее время (9/X или 16/X).

Напишите мне, когда Вы собираетесь приехать в Ленинград. Работа в ЛАППе для Вас найдется (на первых порах бесплатная)…»

26 октября того же года В. Друзин сообщал в открытке:

«Работа в ЛАППе есть — бесплатная.

Сейчас в группе „Смена“ проводится в жизнь ряд докладов. В ноябре будут: о поэзии Асеева, Тихонова и т. п.

Когда поедете — прихватите с собой удостоверение о том, что вы состоите в САППе.

Стихи Ваши напечатаны в „Лен. правде“ 9/X. Гонорар (10 р.) получите, когда приедете (выдача по субботам). В „Смене“ пока нет. Но, очевидно, 30/X или в ноябре. Приедете — продвинете».

Сразу после окончания девятилетки выехать в Ленинград Гитовичу не удалось. Он прожил в Смоленске до декабря 1927 года. Осень и зима, судя по оживленной переписке с другом и земляком М. Марьенковым, с В. Друзиным, а потом и с М. Исаковским, были для него временем серьезной творческой работы. Именно тогда его приняли в члены Смоленской ассоциации пролетарских писателей (САПП), он много печатался,

часто выступал.

В декабре 1927 года в Доме работников просвещения состоялся большой литературный вечер, весьма напоминавший проводы. Поэты «Рабочего пути» и ареновцы тепло напутствовали своего земляка, отправлявшегося на берега Невы.

А. Гитович, М. Исаковский, В. Смолин. Смоленск. 1927

«Разбег»

Причина приезда в Ленинград — желание учиться. Но где и чему — не уточнено. Родным было твердо заявлено: университет. Тем не менее Гитович не торопился подавать заявление. К тому же учебный год давно начался, а до нового набора было еще время.

Впрочем, молодой поэт не часто думал об университете. Нераскрытыми остались привезенные из Смоленска учебники. И тем не менее пора самой напряженной учебы началась — учебы литературной.

В. Друзин ввел Гитовича в литературную группу «Смена». Появились новые друзья, новые интересы, но связи со Смоленском не порывались.

Стихи Гитовича продолжает печатать «Рабочий путь». Он в свою очередь передает в ленинградские журналы стихи смоленских друзей: по просьбе А. Твардовского наведывается в редакцию журнала «Резец», сдает в «Смену» несколько стихотворений М. Марьенкова. Он чувствует себя полпредом смолян в Ленинграде, ведет с ними оживленную переписку.

В письме М. Марьенкову, датированном 24 декабря того же года, Гитович сообщает: «Доступ в газеты мне здесь открыт».

Он по-прежнему много пишет, хотя печатается в Ленинграде на первых порах не часто. Зато принимает участие в платных литературных вечерах. Так, он не без гордости пишет тому же М. Марьенкову:

> «Все же и червонец, полученный за прочтение нескольких стихов, не плохая вещь. Для меня это — месячная плата за квартиру».

Ему же несколькими днями позже:

> «Через ЛАПП устроился рабочим в стеклографию. Работать начинаю через несколько дней. Таким образом денежные дела у меня устроились».

Участие в литературных вечерах, работа в стеклографии, занятия в «Смене» отнимают немало сил и времени.

> «Я глубоко виноват перед Вами, уважаемый Михаил Макарьевич, — читаем мы в письме Марьенкову, — но, право, заслуживаю снисхождения, ибо после 10-ти

часового рабочего дня (меньше у меня не бывает) писать письма вещь не легкая, особенно таким непривычным людям, как я».

Постепенно Гитович становится своим человеком среди сменовцев, его знают в ЛАППе, начинают охотно печатать, и даже дают творческие командировки. В 1929 году он отправляется в свою первую поездку в Среднюю Азию. На следующий год впервые побывал в Заполярье. В архиве поэта сохранился документ, относящийся к этой поездке:

«ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ, СОВЕТСКИМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МУРМАНСКОГО ОКРУГА

Ленотгиз просит Вас оказать содействие члену ударной бригады ленинградских писателей тов. Гитовичу А. И. в ознакомлении с рыбацкими и оленеводческими колхозами, лесозаготовками, апатитовыми разработками и собирании литературного материала для законтрактованного ГИЗом художественного произведения.

Зав. лит. — худ. отд. Чагин».

А. Гитович, В. Сахаров, Л. Рахманов и работники мурманской библиотеки. Мурманск, 1930

На занятиях группы «Смена» Гитовичу здорово достается за киплинговские интонации, но новые друзья умеют по достоинству оценить и оригинальные строчки. К сменовцам приходят лучшие

советские поэты: им читает новые стихи Тихонов, здесь бывают Маяковский, Светлов, когда приезжают из Москвы. Да и сами сменовцы — люди интересные, а как поэты — просто незаурядные. Борис Корнилов, Борис Лихарев, Ольга Берггольц… Почти на каждом занятии знакомит сменовцев с новыми своими стихами руководитель группы Виссарион Саянов… Учиться интересно. Занятия начинаются вечером, а нередко заканчиваются далеко за полночь, но и потом из прокуренной комнатушки переносятся на гулкие от ночной тишины набережные Невы, убегающие в сизую даль проспекты.

Группе «Смена» «повезло»: о ней довольно подробно рассказано в нашей критической литературе, в многочисленных воспоминаниях. Мне нет необходимости повторять сказанное другими. Ограничусь лишь выдержками из статьи одного из руководителей «Смены» В. Друзина, напечатанной в конце 1928 года в «Красной газете»:

> «Группа „Смена“ начала свою работу осенью 1924 года. Организатором и первым руководителем ее был поэт В. М. Саянов.
>
> В первые же два года состав „Смены“ полностью изменился. Те молодые писатели, которые сейчас определяют лицо группы, работают в ней с 1926 года, и только кое-кто с 1925 года. Таким образом, фактически группа „Смена“ насчитывает только 2 1/2 — 3 года работы.
>
> Год тому назад в издательстве „Прибой“ вышел сменовский альманах „Кадры“, где демонстрировались прозаические опыты Г. Гора, Ю. Берзина и Н. Петрова.
>
> Эти прозаики отошли от серого, нудного бытовизма, от беспомощного нагромождения малозначащих деталей. Они попробовали создать новые конструкции, основанные на остром стиле, на сюжетной игре и т. п.
>
> Но благодаря тому, что и Гором, и Петровым, и Берзиным был взят малоценный, а подчас и вовсе неинтересный материал, а также благодаря тому, что попытки формального новаторства не сопровождались необходимым мастерством, — получились вещи, лишенные всякой социальной ценности.
>
> Сейчас прозаики „Смены“ исправляют свои ошибки, сохраняя основное стремление к культуре слова.
>
> В общем, прозаики „Смены“ пока что находятся в процессе формирования, и говорить о них подробно еще рано. Гораздо интересней поэты „Смены“, имеющие

много достижений и определяющие собой литературное лицо группы.

Сменовские поэты учатся культуре слова у лучших дореволюционных и революционных мастеров, подчиняя эту учебу целям пролетарской поэзии…

Основная установка поэтов „Смены“ — выразить новое, пролетарское мироощущение свежими, убедительными изобразительными средствами».

Далее автор статьи дает подробную характеристику лучшим поэтам «Смены». Начинает он с Гитовича, почти полностью цитируя его стихотворение «В историческом музее» как образец яркого «идеологического самоопределения».

Александр Гитович искал свой путь. Именно свой, а не дорожки, проторенные уже кем-то. Это было весьма характерно для сменовцев. Они были политическими единомышленниками, видели свой долг в служении делу коммунизма, но это не мешало им широко смотреть на литературную жизнь, не порождало замкнутости, стремления к литературному сектантству. «Литературная группа „Смена“, хотя и входила в РАПП, жила подлинной, а не обуженной и не препарированной литературной жизнью, — читаем в воспоминаниях Г. Гора, опубликованных в 1968 году в журнале „Звезда“. — Ее члены писали, спорили, мало интересуясь рапповской и налитпостовской схоластикой».

В одной из записных книжек А. Гитовича сохранилась любопытнейшая запись:

«…Никто из молодежи, наверное, не знает о тех литературных схватках, которые происходили в 20-х годах нашего необычайного столетия.

Были рапповцы, были пролеткультовцы, были формалисты, были лефовцы, были имажинисты, и уже, наверное, никто не помнит, что были обереуты…

Были годы моментально возникающих слав; где-то в глубине души люди знали, что эта слава преходяща, но они цеплялись за свою мимолетную славу, потому что понимали: настоящей славы им никогда не достигнуть.

Сейчас странно вспоминать об этом.

Откуда я получил первый удар по своему мальчишеству и по своим мальчишеским увлечениям? Думаю, что ни один человек на белом свете об этом догадаться бы не сумел. Этот удар был нанесен мне, так сказать, слева. Ничего более фантастического я не мог ожидать. Не кто иной, а Николай Макарович Олейников, казалось бы самый левый из левых, признававший

только Хлебникова… сказал мне, уважительно называя меня, мальчика, „Александр Ильич“: знаете, у нас плохая поэзия; если хотите знать, то из нашей современной поэзии останутся только стихи Бунина».

Множественность литературных групп тех дней, несомненно, оказывала какое-то влияние на людей того поколения, к которому принадлежал Гитович, но оно не было глубинным. Это поколение было детьми революции, ее первой зеленой порослью. Празднование 10-летия Великого Октября, прошедшее незадолго до приезда Гитовича в Ленинград, словно бы приблизило к ним, вступающим в жизнь, романтику революции.

Мы смело в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это.

Эта песня наших отцов стала гимном наших старших братьев. Да, они горевали по поводу того, что опоздали родиться, но были убеждены: им еще представится возможность доказать свою преданность красному знамени, и это тоже будет кровавый и жестокий бой. «Еще мы в штатском, но уже солдаты», — писал Н. Ушаков. «Трехгранным упорством граненой стали», казалось А. Суркову, должны отливать строчки стихов, обращенных к завтрашним солдатам. Поколение Гитовича, особенно его ленинградские ровесники, жило с обостренным чувством того, что революция продолжается, «с Интернационалом воспрянет род людской». Молодежь считала, что предстоит «последний и решительный бой», что главное — готовность умереть за грядущий коммунизм.

Своих трудов наследники,
Мы платим все сполна, —
Мы ждем тебя, последняя
Гражданская война! —

писал Гитович.

Светловский украинский хлопец, ушедший на гражданскую войну, «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», не смог допеть до конца вместе со всеми «Яблочко»: вражеская пуля выбила его из седла. Матрос-партизан Железняк из песни Михаила Голодного «остался в степи» под Херсоном. Этот мотив

органически вошел в творчество и более молодых поэтов, даже был усилен ими. Для Гитовича и его товарищей по «Смене» подвиг во имя революции чаще всего означал героическую смерть: «достоинство наше — твое и мое — в другом продолжении жизни» (Б. Корнилов).

Тема героической гибели проходит через многие стихи Гитовича («География и война», «Разговор по душам», «Ярость»). Тема подвига (потом уже вовсе не обязательно связанного с гибелью) в дальнейшем обретает в его стихах завидное постоянство, становится органической.

Первое по-настоящему программное стихотворение Гитовича — «Оценка профессии». Написанное в 1927 году, оно с удивительной точностью намечает главную линию жизни поэта. Многое из того, что пунктиром намечено в «Оценке профессии», будет развито поэтом в других стихах, в частности в цикле «Солдаты», появившемся в 1961 году.

Если мне б навек не везло ни в чем,
На худой конец я бы стал врачом.
Я б лечил людей, порошки давал,
Порошки давал, камфару вливал…

…Кабы дали мне заводской металл,
Я бы, может быть, бригадиром стал.
Я б ночей не спал — аж в глазах туман,
Перевыполняя пятилетний план.

…Мне б такой приказ, чтобы как-нибудь
Повернуть меня на военный путь,
Я бы мог талант проявить слегка,
Из меня бы стал командир полка…

…Если б дали мне необычную
Боевую жизнь пограничную,
Я шагал бы ночь по своей тропе,
Я б услышал: враг шелестит в траве.
Террористы ползут по земле рябой,
Я один как перст принимаю бой,
Как навеки учила биться нас
Молодая кровь Коробицына…

…Но не дан моей молодой судьбой
Ни большой завод, ни военный бой.
Не в единый час, не в крутом бою,

А по капле кровь отдавать свою.
Это Стол и Ночь, и уйти нельзя,
И не могут помочь никакие друзья.
И оставит меня навсегда седым
Лишь бессонниц тех оловянный дым…

Этот своеобразный конспект автобиографии жизнь обогатит содержанием, но не изменит главного: Гитович всегда «солдат страны и солдат строки».

Оценка профессии в те дни не была для него вопросом отдаленного будущего. Она требовала конкретных решений: поэзия, бесспорно, остается главным делом, однако, может быть, нужно учиться и чему-то другому. Уже давно был выбран университет. На каком факультете учиться? Двух мнений быть не может. Конечно, на географическом. Гитович искренне убежден:

И все же сознайтесь, шатавшись по свету,
Что в мирных республиках лучшего нет,
Чем самый воинственный из факультетов,
Географический факультет.

Он совершает путешествие по Средней Азии. В желтых барханах пустыни, чудилось ему, еще гнездится горький пороховой дымок недавно отгремевших боев с басмачами, в мареве, повисшем над пустыней, он хочет увидеть славных красных конников. В ожидании этих встреч летит время. Путешествие продолжается. А между тем начинается учебный год. Б. Лихарев напоминает ему:

«Почему ты не в Ленинграде? Тебе бы следовало поступить на геофак. Приезжай, может быть, еще не поздно, хотя учебный год в университете начался 7-го».

В 1929 году Гитович наконец-то поступил в университет. Но, как и в школе, поэзия мешает ему сосредоточиться на науках. Он уже живет литературой. Она поглотила его целиком. Остается лишь время на переписку со смоленскими друзьями, выполнение обязательств перед ними. Но это приятные обязанности. Ведь они снова приводят его в редакции газет и журналов.

Гитовича по-прежнему интересует все, что происходит в литературной жизни Смоленска. Он поддерживает оживленную переписку с А. Твардовским, Б. Бурштыном, С. Курдовым, В. Муравьевым, изредка ему присылает несколько строчек М.

Исаковский.

Гитович мог похвастать своими успехами. В литературном Ленинграде он уже приобрел известность, его охотно печатают газеты и журналы. Впереди маячит — книга. А это уже событие огромнейшего значения. Правда, первая книга, в которой он предстал перед читателем, — коллективный сборник. От сменовцев в число авторов входит, кроме него, Борис Лихарев, от литературного объединения «Резец» — Александр Чуркин. Четвертый — Александр Прокофьев. В письмах смоленским друзьям Гитович восторженно рассказывает о новом своем друге Прокофьеве: красноармеец, сражавшийся против Юденича, потом чекист, а самое важное — самобытный поэт. За строчками его стихов встает эпоха.

> Огромные наши знамена — красный бархат и шелк,
> Огонь и воду и медные трубы каждый из нас прошел.
> В семнадцатом (глохни, романтика мира!) мы дрались, как черти, в лоск,
> Каждый безусым пошел на фронт, а там бородой оброс.

Свою книгу четыре автора назвали не без намека «Разбег» (1929). Она не оставляла никаких сомнений: в литературу вливается талантливое пополнение. Прокофьев напечатал в «Разбеге» свои уже тогда довольно известные «Песни о Ладоге». В каждой строчке их звучала не наигранная, не вычитанная из книг, а действительная романтика. Стихи пахли Ладогой, свежей рыбой, вереском, несли зримые приметы удивительной и вместе с тем очень реальной жизни «Олонии, Олонии, дальней радости моей».

А. Гитович и А. Прокофьев. 1931

По-своему начинал и Александр Чуркин. Он был ближе к

Прокофьеву, чем к двум другим более молодым соавторам книги. Ему по ночам еще снилось, «что пули и сабли свистят», те самые, что когда-то шумели над его головой. Ведь это о себе рассказывал поэт:

Мы ль да партизанили,
Да рубились в лоск:
Александровск заняли.
Взяли порт — Скадовск.

Бухали и бахали,
Гул — не подходи…
Шлемами, папахами
Хоть пруды пруди!

Стихи Гитовича и Лихарева, помещенные в «Разбеге», конечно, не могли волновать читателя яркостью биографий их авторов. Биографии у обоих были самыми заурядными, особенно у Гитовича: школьник, затем студент. Но оказалось, что у партизан Чуркина, красноармейцев Прокофьева, таскавших с собой «Яблочко», как «песенный паек», выросли младшие братья. Они знают и свою цель в жизни, и цену себе:

Мы соль земли, мы вкус земли,
Спрессованы в пласты.
И мы мириться не могли
С позором пресноты,—

так говорил от их имени Б. Лихарев.

К 1929 году, когда вышел в свет «Разбег», Гитович успел написать немало стихов. В книгу он включил лишь некоторые — «География и война», «В историческом музее», «Лето в провинции» и другие.

Пройдет много лет. В 1963 году, окидывая взором прожитую в литературе жизнь, Гитович напишет:

Если в самые разные сроки
Ты ни разу не сдался в бою,
То сойдутся в одно твои строки
И составят поэму твою.

Пусть теперь, через многие лета,
Ищешь ты отпущенья грехов —

Лебединая песня поэта
Начинается с первых стихов.

Никогда не отречется он и от строчек, появившихся в «Разбеге», хотя не часто встретим их в более поздних изданиях. Но не потому, что поэт что-то пересмотрел в своих убеждениях, а потому, что многие стихи уже не соответствовали тем требованиям, которые он сам стал предъявлять к себе. Тематически же от них идет прямая линия к «Звезде над рекой», «Зимним посланиям друзьям», посмертной книге «Дорога света». Гитович в своих стихах писал, что его герой готов «для дела, для прозодежды, для станка», но сердце его безраздельно принадлежало другим: матросу, «пьяному от бессонницы», идущему октябрьской ночью в Смольный, чтобы делать революцию, Андрею Коробицыну, сумевшему отстоять то, что завоевано матросом в семнадцатом, волховскому саперу, проложившему дорогу от Синявинских болот до Бранденбургских ворот в Берлине.

Правда, в стихах, включенных в «Разбег», еще немало декламационной выспренности, которая тогда в известной мере была присуща нашей молодой поэзии, но здесь мы познакомились с родоначальником славного армейского племени, которое получит постоянную прописку в книгах Гитовича: уличный фотограф, приведя в готовность «торжественный треножник», снимает красноармейца («Фотография»). Поэт не хочет изображать своего героя в романтических доспехах: «широкий, лупоглазый, белоголовый, как луна», он списан с натуры, и эта достоверность, стремление избежать котурнов станет характерной чертой почерка Гитовича, всю жизнь славившего советского воина. Ему, солдату, будут отданы симпатии автора. Солдат из стихотворения «Фотография» был первым в славной галерее.

В то время к читателю часто приходили коллективные книги молодых ленинградских поэтов. Характерны их названия. «Приказ о мобилизации» — так назвали свой сборник 1931 года Н. Браун, А. Гитович, А. Прокофьев; «Салют» — стояло на обложке вышедшей в следующем году книги А. Гитовича и А. Прокофьева, которую открывало коллективное вступление:

Подымается ветер героики над суетой бумажной,
Над кабинами стихотворцев
и архивною пылью углов.
Как военный салют,
Повторенный для верности дважды,

Отдаем настоящую почесть
Боевыми патронами слов.

Беззаветным бойцам, перешедшим леса и болота,
Сквозь пустыню опасного лета и матерую тундру зимы, —
Партизанам Урала и Севера,
Боевому Балтийскому флоту,
Пограничным отрядам Союза
Салютуем — идущие — мы.

В этой книжке Гитович напечатал посвященную Краснознаменному Балтийскому флоту «Юбилейную поэму», отрывки из «Северной интервенции» и лучшее произведение тех лет — «Коробицына». Прокофьев — два цикла стихов: «Уральские партизаны» и «Песни партизан».

Романтика стихов Прокофьева по-прежнему строится на твердой земной основе. Ей не мешает, а скорее, даже усиливает предельно дневниковая конкретность письма: партизаны, обутые «в чуни», гармонист не просто играет, а «заводит» «Страданье», и даже в самом трагическом месте, когда пулеметчику Бачурину «труба, по-матросски звучащая — амба!» и он взрывает себя вместе с пулеметом, поэт не забудет отметить, что граната подкладывается «под живот пулемета». Он не боится подробностей. Они не приглушают патетику:

Восемнадцатый год.
Опускаются сабли с размаху.
Ничего, кроме пуль.
Остальное слывет пустяком.
Партизанский Верхнеуральский отходит к Стерлитамаку.
Лапти вскинув на плечи, партизаны идут босиком.

Стихи Гитовича лишены столь конкретных деталей и примет. Детали в них рассчитаны не на зрительное восприятие. Они скорее обращены к памяти и знаниям читателя. От этого публицистичность его стихов нередко идет как бы следом за газетными сообщениями:

Что сказать о Латвии? С виду небогаты,
Все же виден некоторый небольшой размах:
Президент имеется, сейм и депутаты
Неприкосновенные — как в лучших домах.

Однако от стихотворения к стихотворению становится все заметнее, как поэт преодолевает в себе книжность, как начитанность из противника, сковывающего по рукам и ногам, превращается в союзника.

В 1931 году в Ленинграде вышла первая книга стихов Гитовича. Она называлась «Мы входим в Пишпек». Уже название указывало, что книга посвящена поездке поэта в Киргизию. Жажда узнавания, чувство хозяина земли были всегда присущи советской молодежи. Для Гитовича эти чувства усиливались еще «чувством присяги». Тема узнавания — его открытие Востока — органически переплетается с военной защитой Отечества, защитой революции. Лирический герой Гитовича говорит о своем поколении:

В больших городах и от них вдалеке,
В халате и всяческом платье,
Мы их узнавали по жесткой руке,
По крепкому рукопожатью.

Для нас отдаленные материки
Не стоили медной монеты,
Мы ноги расставили, как моряки,
На палубе нашей планеты.

Под дьявольским солнцем, по горло в труде,
В арычной воде по колено,
В полях, и заводах, и вузах —
Везде —
Дерется мое поколенье.

Приметы тогдашней Киргизии в стихах чаще всего носят чисто внешний характер («рябая ярмарка камней», «желтый песок — желтее лупы», «лезет на лошадь пузатым мешком набитый бараний бай» или «там волей Нового завета кочует юрта сельсовета»). Но главное поэт сумел увидеть. Уже в первой книге в полной мере проявляется всегда органичный для него интернационализм: «Поверьте, что Ленин похоже звучит на ста тридцати языках».

Книга названа «Мы входим в Пишпек», — но открывается она разделом «Присяга», куда включены такие стихи-декларации, как «География и война», «Германия», «Разговор по душам», «Молодежь».

Как-то Блок заметил: «Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, — является чувство пути». В книге «Мы входим в Пишпек» это чувство не просто угадывается, — можно ощутить, как оно нарастает от стихотворения к стихотворению.

В «Теории относительности» Гитович писал о своей неотделимости от всего происходящего в мире, от «эпохи»:

Окна распахиваются звеня,
И вольный этот рассвет
Потом эпохи идет в меня,
Длинным путем газет,

И каждою стачкой, пролившей кровь,
Восстаньем с той стороны,
И черной работою мастеров
Громкой моей страны,

Которая за окном, за дверьми
Летит дорогой крутой…

Это сказывается на его поэзии: в стихах начинают преобладать живые интонации, ощущается дух времени.

Но период ученичества этой книгой не окончился. В ней еще немало сырых строк, образов, не столько найденных в самостоятельном поиске, сколько сочиненных по-тихоновски. На некоторых стихах можно проследить и влияние Н. Заболоцкого, особенно в тех местах, где неуменье охватить и осмыслить увиденное Гитович пытается скрыть с помощью иронической интонации.

Казалось бы, задача критики состояла в том, чтобы поддержать молодого литератора, помочь ему поскорее уверовать в собственные силы. Ведь в главном — в идейной направленности своей поэзии — он шел верной дорогой. Однако критика тех времен — прежде всего, разумеется, рапповская — часто обрушивалась на поэта. Удивительнее всего, что она казнила его именно за «политические ошибки».

В журнале «Новый мир» № 5 за 1931 год была напечатана рецензия на книгу «Мы входим в Пишпек». Сегодня ее читаешь, как пародию. Но тогда поэту, видимо, было отнюдь не до смеха.

> «Идеологическая шаткость стихов Гитовича знаменует зыбкость мелкобуржуазного сознания автора, от природы несомненно даровитого, — писал рецензент

„Нового мира“. — Оттого-то основным выводом из всего сказанного будет подчеркивание того факта, что книжка без достаточных оснований вышла в серии пролетарской литературы».

Журнал «Ленинград» (№ 2, 1932 г.) обвинял Гитовича, а заодно с ним и Лихарева, за «некритическую учебу у классиков», а журнал «На литературном посту» (№ 4, 1932 г.) утверждал:

«Ряд других ранних стихотворений Гитовича („Вода“, „Равновесие“ и др.), в которых поэт не поднимается до уровня пролетарского мировоззрения, испытывая на своем творчестве влияние таких реакционеров, как Заболоцкий, носят отчетливый отпечаток мелкобуржуазной идеологии».

Словно отвечая всем, кто вместо доказательств и убеждения пользовался дубинкой, Гитович пишет стихи, посвященные Маяковскому. Он считал себя тоже ответственным за его наследие, хотя и не соблазнялся копированием его, как это торопились сделать иные молодые поэты. Стихи, написанные на смерть Маяковского, не нуждаются в комментариях. В них «по-маяковски» все предельно и точно:

Мы минусуем горькие невзгоды…
Все в порядке. Вертится земля.
Молодежь проверенных заводов
Выбирает вас в учителя.

Вам теперь проснуться б и помочь ей
(Нам такого долго не пошлют),
Ею трижды я уполномочен
Передать присягу и салют.

И, едва удерживая нервы,
Дорогое горе затая, —
Как вождю,
Как первому из первых,
Присягает молодость моя.

Присягал поэт от всего сердца, но «крылья неустанных парусов» уводили его и в совершенно реальную Киргизию, и, случалось, на зыбкие острова книжной романтики. Поездки по стране позволяли накапливать новые впечатления. Они сами по

себе явились для Гитовича серьезной школой. Но сказалась и помощь партийной критики, старших товарищей — В. Саянова, А. Прокофьева и других.

Отношения Гитовича с Прокофьевым складывались сложно. Они дружили, часто вместе выступали и на литературных вечерах, и в разных изданиях. Гитович ценил поэзию Прокофьева, но сам хотел идти иным путем. Находилось немало охотников на этом основании рассорить друзей.

Мы славили дружбу наперекор
Молве. К хитрецам — спиной.
Мы славили дружбу, а не разговор
За столиками в пивной.

Понятие, выросшее в огне,
Отбросившее золу,
Суровое братство, которого нет
И быть не может в тылу.

Зачем же поэзии вечный бой
Изволил определить —
В одном окопе да нам с тобой
Махорки не поделить? —

писал Гитович в стихах, посвященных Прокофьеву.

В свою очередь Прокофьев, даря Гитовичу свою книгу стихов «Улица Красных зорь», написал на ней:

«Александру Гитовичу на нерушимую дружбу. Иней засыпал мои волоса, а тебя он никак не тронул. Но Улица Красных зорь открыта для дружбы, и дружба та — на виду. 13. I. 31 г.»

Дружба их была требовательной и бескомпромиссной:

Если дружба, то, значит, поровну —
Бой, победу, беду, табак.

Она была вскормлена одной любовью — революцией, единым стремлением — верой и правдой послужить ей:

Нас одна обучала школа —
Революция, только ты…

Год призыва 1909-й

В 1931 году допризывники 1909 года рождения уходили служить в Красную Армию. Гитович был освобожден от действительной службы (уже тогда у него пошаливало сердце), но не захотел отстать от погодков. Ему пришлось употребить немало сил, упорства и даже красноречия, чтобы уговорить призывную комиссию не зачислять его в белобилетники. Настойчивость его была легко объяснима: поколение, к которому он принадлежал, расценивало службу в армии как огромное доверие.

Призывники 1909 года рождения чувствовали себя прямыми наследниками героев октябрьских боев и гражданской войны. Они взрослели, мужали вместе со страной: строили Комсомольск-на-Амуре и варили первый чугун в домнах Магнитки, выращивали хлопок в пустыне. Среди всех этих больших и крайне важных дел они не забывали о военной опасности.

Будучи допризывником, Гитович старательно учился военному делу: его тянуло на пограничную заставу, на палубу боевого корабля — всюду, где воины жили в боевой готовности номер один, где в любую минуту готовы были отправиться на ратный подвиг. Летный шлем, подаренный авиаторами, заменял ему кепку или шапку. Он носил краги, курил, разумеется, трубку, играл в теннис, стремился походить на героя тихоновской поэзии, которого «жизнь учила веслом и винтовкой», прежде чем стал он «спокойным и ловким, как железные гвозди — простым». Писари еще не выписали ему повестку явиться в военкомат, а он уже приобрел некоторый опыт, живя среди воинов, наблюдая за их нелегкой службой. Он участвовал в дальнем учебном походе на подводной лодке, и не без гордости потом говорил, что ему, единственному из поэтов, довелось читать стихи под 16-метровой толщей воды.

В мирное время ореолом мужества и романтики была окружена пограничная служба. «Боевая жизнь пограничная» больше всего притягивала к себе Гитовича. Граница означала для него не только передний край обороны Отечества. Он воспринимал ее как линию испытания сердца.

«Чувство границы» пульсирует в его стихах, придавая им напряженность, внутреннее волнение. «Чувство границы» понималось им расширительно:

Проходят года
К неизвестным пределам,
Но братство — оно сохранится

Везде,
Где тревога за общее дело, —
А это есть *чувство границы.*

«Чувство границы» станет для героев поэзии Гитовича чем-то вроде лакмусовой бумажки: с его помощью можно проверить ценность человека.

Стихи, написанные в результате первого знакомства с жизнью армии и флота, с буднями пограничья, составили книгу «1909 год». Она была подготовлена в 1932 году издательством «Молодая гвардия», но была задержана выпуском, и появившиеся немногие экземпляры тотчас стали библиографической редкостью.

Вряд ли можно сказать, что книга означала большой шаг вперед по сравнению со сборником «Мы входим в Пишпек». Книга была собрана наспех, отдельные части ее недостаточно хорошо выверены и пригнаны друг к другу. В ней еще немало риторики, а содержание некоторых стихов без труда укладывалось либо в газетную передовицу, либо в главу из учебника политграмоты. Даже наиболее яркое событие личной жизни — поход на подводной лодке из Кронштадта в Балтийское море — не получило сколько-нибудь яркого отражения в стихах. Правда, появилась «Юбилейная поэма», посвященная Балтийскому флоту, но развитие ее идет в тесном фарватере прописных истин:

Правда, генералам надо гнать монету.
Генералов много — целые стада.
Есть и адмиралы… Только флота нету.
Прямо получается прорыв да беда.

В подобных строках тонут свидетельства очевидца.

Немногим лучше «Описание Балтийского моря, согласно приказанию командира подводной лодки В. Н. Симановского».

Но в новой книжке было и то, что уже обратило на себя внимание в первой — «Мы входим в Пишпек». Поэту чужда позиция стороннего наблюдателя, ему есть дело до всего, чем заняты сограждане. С ними он старается вести разговор по душам. Второй раздел, давший название книжке («Девятьсот девятый»), где собраны стихи о своем поколении, оказался значительно интереснее и по своей фактуре и по художественному исполнению. В первом разделе («Описание Балтийского моря») мы почти не слышим живой интонации. Автору мешает скованность, боязнь хоть на шаг ступить в сторону

от курса, проложенного кем-то другим. При чтении же отдельных стихов второго раздела ощущаешь, будто в книжку врывается свежий ветер и ломает перегородки, отделявшие автора от читателя. Простой язык стихотворений еще больше способствует развитию этих контактов:

Позвольте ж после всех красот
Земного пробужденья
Прославить честный девятьсот
Девятый год рожденья.
Нам говорят: «Городовой,
Погоны и медали», —
А мы мотаем головой —
«Не знаем,
Не видали».

Но лицо книги определили не эти единичные примеры. В ней было помещено стихотворение, в котором проявились лучшие стороны дарования Гитовича: емкость строки, четкость поэтической мысли, политическая зоркость. Это стихотворение сразу же выдвинуло его автора в первые ряды советских военных лириков. Я имею в виду стихи о Коробицыне.

В 1927 году всю страну облетела весть о беспримерном подвиге красноармейца-пограничника Андрея Коробицына. На дозорной тропе его атаковали четыре нарушителя. Красноармеец был ранен, но, истекая кровью, смело вступил в неравный бой: ранил главаря банды и отбил нападение бандитов. Когда подоспели товарищи, схватка уже была закончена. Враги не прошли. Обессиленного от ран Коробицына доставили в госпиталь, где три дня врачи вели борьбу за его жизнь; спасти героя не удалось.

Подвиг рядового пограничника стал для советской молодежи символом стойкости и бесстрашия. Поэты сложили о нем стихи и песни. Стихотворению, написанному Гитовичем, суждена была долгая жизнь.

Успех «Коробицына» не случаен. Он был подготовлен всей предшествующей работой, глубоким проникновением в тему. Поэт не раз бывал на той пограничной заставе, где служил Коробицын, сблизился с друзьями героя, мог надышаться самим воздухом пограничья. Все это вошло в кровь и плоть стихотворения.

Андрей Коробицын шагает в стихах свободно и широко. Он наделен всеми чертами своего поколения, своего класса. Создавая его образ, поэт решительно отказывается от заимствований у

Гумилева и Киплинга. Да это и понятно: социальная природа подвига советского пограничника иная:

Нам известны военные подвиги
Всевозможных времен и окрасок,
Но Андрей Коробицын —
Превосходною славой звени!
В этом есть напряженье
И мужество
Целого класса,
И над самою смертью
Тебя подымают они.

Поэт непоколебимо убежден в классовых истоках подвига советского солдата. Читатель чувствует за спиной Коробицына сотни и тысячи рабочих и крестьянских парней. Отвага и мужество Коробицына приподнимают его над смертью. Пограничник прикрывает своей грудью страну, вдохновившую его на подвиг. Страна обессмертила его имя.

Мы помним, что до «Коробицына» Гитович охотно писал публицистические стихи о верности присяге. Но прежде публицистичность нередко оборачивалась риторикой. Теперь же, получив героический материал, что называется из первых рук, своими глазами увидев пограничные будни, поэт сумел написать по-новому. Он сдержан в выражениях чувств, каждое слово как бы взвешено на ладони, прежде чем поставлено в строку, пригнано к соседним, как патрон в обойме.

Что такое граница?
Работа широкого риска,
Это — путь пограничника ночью дозорной тропой,
Это — маузер сбоку, как самая суть террориста,
И навстречу бандиту — фуражек зеленых прибой.

Безошибочный выбор деталей, ясное представление о том, что произошло в этот день на границе, позволяют автору сделать свой рассказ и ярким и динамичным. В восьмидесяти строках стихотворения раскрыта не только картина подвига, но и философия его.

Коробицын обрисован несколькими штрихами: он шагает «по блестящему следу дождя», потом обнаруживает «четыре прищуренных дула», вступает в неравную схватку и, наконец, гибнет от вражеской пули. Поэт сознательно избегает «ряда

мелочей», чтобы показать героя крупным планом, выделить в его образе самое основное — отвагу и верность долгу:

Пограничнику ясно одно —
И отсюда рождается подвиг —
Нарушители наших границ,
Перешедшие берега,
Это новая бомба
В напряженное сердце заводов, —
Враг на нашей земле.
Коробицын идет на врага.

Спору нет, и эти строчки несут на себе печать своего времени. Отсюда рядом с вполне понятной приподнятостью — и некоторая их выспренность. Но она не помешала с предельной достоверностью обозначить характер рядового защитника Родины. В этом — «враг на нашей земле. Коробицын идет на врага» — проявляются не только черты одного человека, а мораль поколения.

Гитович написал о своем сверстнике, о подвиге мирных дней. В этом — непреходящее значение его «Коробицына». Андрей Коробицын окажется правофланговым среди множества воинов, изображенных в книгах Гитовича. Рядом с ним станут в одном строю однополчане по артиллерийскому полку, где поэт прошел первую школу солдатской выучки, а потом и герои Великой Отечественной войны.

Но значение «Коробицына» этим не исчерпывается. Перечитывая стихи сегодня, ясно представляя себе время, когда они появились, нельзя не обратить внимание еще на одну, может быть более широкую тему, которую поднял поэт. Это — тема братства народов, оно наступит после всемирной победы трудящихся. «Хойка — финский ручей шириною в четыре аршина» — воспринимается поэтом как «мрачная крепость», разделяющая народы. Славя Андрея Коробицына, поэт уже тогда, в 1932 году, был убежден, что самым лучшим памятником герою будет завоеванный народами мир.

Но единое дело идет по земле нерушимо.
И дождется ручей величайшего дня своего:
Мы поставим мосты
Протяженьем в четыре аршина,
Дети вброд перейдут
Пустяковые воды его.

«Андрей Коробицын» пришелся по душе и любителям поэзии, и всей молодежи. Я помню, как у нас в школе почти на каждом вечере, посвященном Октябрьской годовщине, Первому мая или празднику Красной Армии, неизменно читали со сцены эти стихи. Мы знали их на память и однажды даже писали в классе изложение на тему стихов Гитовича.

Но я забежал несколько вперед.

Постараемся мысленным взором перенестись в 11-й конно-артиллерийский полк, где проходила служба поэта.

А. И. Гитович 1932

На первых порах армейская жизнь отнюдь не воодушевляла

браться за перо. Каждый день нужно было чистить винтовку и коня, ходить в наряд или караул, заниматься строевой подготовкой, множеством других довольно скучных и утомительных дел. К вечеру тело наливалось тяжестью, ноги заплетались от усталости. Но шли дни, и боевая выкладка на марше уже не так отягощала плечи. Минуло еще несколько недель, и строки новых стихов запросились на бумагу.

Прежде всего хочется выделить короткий цикл стихов о коне. Он представляет собой органический сплав трех начал поэзии Гитовича: добрую иронию, уменье в будничном увидеть возвышенное, взволнованную публицистичность.

Цикл начинается «Первой встречей» с конем.

Хуже бреда,
Злее смерти
Наклонились надо мной
Зубы, длинные, как жерди,
Опаленные слюной.

Выше — глаз глядел сердито,
Полный красного огня,
И огромное копыто
Сбоку целилось в меня.

Но идет время, и «волосатая беда» — конь — ласковыми бархатными губами тянется к карману красноармейца, где для него всегда припасен сахар. После же первых походов, когда немало досталось и бойцу, и лошади, начинается дружба. Поэт убежден, что «будут дни пороховые», но, готовясь к ним, воин должен сегодня научиться безукоризненно выполнять самые обыденные, отнюдь не героические обязанности, ибо в этом — залог его побед на поле брани.

Я возьму седло и сбрую,
Все, что скажет отделкой,
Стремена отполирую
Самым мелким наждаком…

Стихи почти пересказывают параграфы наставления. Но вся соль в этом «почти». Стихи о коне — не пересказ, не рифмованный репортаж об армейских буднях, а живописание их.

Еще не произнесено ни одно «возвышенное» слово, еще, читая стихи, мы ощущаем лишь конский и людской пот, но с каждой

строчкой становится все явственней, что во всех углах казармы — и в красном, где на посту № 1 хранится полковое знамя, и в том, где дремлет в пирамиде боевое оружие, — всюду гнездится романтика. Она окрашивает в свой особый цвет армейские будни.

А. И. Гитович. 1932

Когда прочитано «Последнее стихотворение о коне», мы понимаем: первые были, пользуясь военной терминологией, чем-то вроде артиллерийской подготовки, предшествовавшей вводу в действие главных сил. Стихи написаны с удивительным чувством поэтического озарения:

Никогда, ни под каким предлогом
Не хочу предсказывать, друзья,
И однако гибели берлога
Снится мне, темнея и грозя.

Вижу тучи, прущие без толка,
Отблеск дальнобойного огня,
Дальше все потеряно…
И только —
Морда полумертвая коня,

Душная испарина и пена,
Это он, а вместе с ним и я, —
Оба — тяжело и постепенно —
Падаем во мрак небытия.

Падаем…
Но через толщу бреда
Музыка плывет издалека, —
То растет великий шум победы,
Гул артиллерийского полка.

Так во сне моем произрастает
Истины упрямое зерно.
Что поделать? Жизнь идет простая,
С ней не согласиться мудрено.

Лето нас приветствует июлем,
Ясной радугой, грибным дождем.
Мы еще поездим,
Повоюем
И до самой смерти доживем.

Эти и другие стихи собраны в книге «Артполк», занявшей, как мне кажется, видное место не только в творчестве ее автора, но и во всей нашей лирике начала тридцатых годов.

А. Гитович и Б. Корнилов в лагерях артиллерийского училища. 1936

Советская поэзия и тогда знала немало превосходных стихов, славивших могущество Красной Армии, ее героев. Достаточно вспомнить стихи Д. Бедного и В. Маяковского, Э. Багрицкого и А. Суркова, Н. Тихонова и С. Щипачева. Литераторов, отдавших вдохновение воинской теме, было не мало. В начале 1930 года они сочли нужным организационно определиться: создали Литературное объединение Красной Армии и Флота (ЛОКАФ). Благодаря усилиям прежде всего этих писателей появилась большая серия книг о боях и походах гражданской войны, о славных боевых традициях нашего народа. «Разгром» Фадеева, «Чапаев» Д. Фурманова, «Война» Н. Тихонова заложили основу этого направления молодой советской литературы. Но все эти книги были обращены в прошлое. Произведения же о мирных буднях армии и флота нетрудно было перечесть по пальцам. Больше того, даже эти немногие сочинения не всегда оказывались художественно убедительными. В известном письме А. Суркову Максим Горький писал по поводу оборонной поэзии:

> «Постыдно скудны силы поэтов наших, холодные стишки пишут у нас. Очень равнодушна эта лягушечья поэзия».

Поэзия была в неокупном долгу перед армией и флотом. Перед тысячами читателей, одетых в гимнастерки и бушлаты.

Недаром, выступая на совещании по оборонной литературе, которое состоялось значительно позже, в 1936 году, Вс. Вишневский с тревогой говорил:

> «На наших глазах в нашей жизни прошло три войны. Нужно будет сейчас идти на четвертую войну. А что делают писатели? 3000 советских писателей — чем они отвечают на потребность класса и времени? Они молчат! Есть люди, которые сейчас уходят демонстративно на боковые темы».

В свете всего сказанного выше книга «Артполк» с ее живыми картинками будничной жизни одной из артиллерийских частей приобретала особую значимость.

Гитович задался целью показать на первый взгляд не очень приметные и, казалось бы, не такие уж важные события и стороны полковой жизни: боевые стрельбы, маневры, чистку конского состава, соревнование за знамя германского комсомола и т. д. Но за всем этим на страницах тоненькой книжки вставала довольно широкая панорама армейской действительности, изображенная как бы изнутри, уже почти без ненужной патетики.

Прежде стихи Гитовича не отличались населенностью. Теперь в них щедро прописаны однополчане поэта. Мы знаем, что комсомольцев полка, награжденных знаменем германского комсомола, возглавлял Николай Новоселов. Новоселова никак нельзя спутать с Сашкой Алексеевым или с кем-нибудь другим. Появление всех их делает армейскую жизнь на страницах книги полнокровнее. Для каждого события, для каждого человека и состояния его души автор пытается найти свои краски.

В то время Красная Армия была подлинным университетом для сотен тысяч советских молодых парней. Ведь тогда еще в стране не была ликвидирована неграмотность, деревенская молодежь приобщалась за время службы к «городской культуре», училась пользоваться электричеством, телефоном, приобретала множество различных рабочих профессий и прежде всего уменье водить трактор. Но служба в армии была серьезной школой и для таких сугубо городских жителей, как Гитович. Она тоже многому научила их. За время службы Гитович, как никогда прежде, окреп физически, научился владеть винтовкой, почувствовал свою сопричастность коллективу, значение той дружбы, которая удесятеряет волю одного и цементирует весь строй.

> Мы веруем: наверняка
> Система исполнена пыла;
> Шершавая сталь турника,

Спина деревянной кобылы.
Она в полумраке встает,
Коварною тушей темнея, —
Но мы перепрыгнем ее
Во славу шестой батареи.

Стихотворение названо «Заповедь». Иного сегодняшнего читателя может удивить несоответствие «высокою» названия и столь «низкой» темы. Впрочем, никакого несоответствия здесь нет. Поэт подчеркивает, что высокая боеготовность армии рождается из мелочей, она — производная конкретных усилий каждого красноармейца. Но мысль стихотворения шире. Хорошо, что шестая батарея так дружна, что здесь подобрались отменные ребята, но ведь «пятая тоже всегда военной работой объята». Ее нужно подтянуть до уровня шестой, подтянуть «во славу дивизиона». Да и полку есть на кого равняться: он должен работать, «как шефы во славу завода», «во славу рабочего дела».

В конечном счете все, чем занимаются бойцы: совершают ли ночной марш по «блестящему и прямому, как дула наших орудий, Выборгскому шоссе», стреляют ли («И черное яблочко цели твоей — как свастика штурмовика»), закаляются ли на занятиях по физподготовке — все делается «во славу рабочего дела». Все они связаны общностью цели — «Связь, великая как дружба, и дружба, нерушимая как связь».

Красноармейцы из «Будней» (так назван один из разделов книжки) крепко связаны со своими однополчанами, от которых приняли эстафету, — героями второго раздела книжки — «Битва». В этом разделе напечатаны два больших стихотворения «Смерть Толмачева» и «Иван Мысин». Толмачев — комиссар гражданской войны. Он погиб под Лугой; когда на поле боя его окружили белогвардейцы, комиссар отбивался до последнего патрона, а последний приберег для себя. Еще недавно автор книг «Мы входим в Пишпек» и «1909 год», может быть, удовлетворился бы только описанием героической гибели комиссара. Но теперь поэту важно проследить истоки подвига. Для этого он должен хоть в малой мере приоткрыть перед читателем дверь в духовный мир комиссара. Он хочет знать не только то, как погиб Толмачев, но и о чем тот думал на поле боя. Гитович не скрывает этого своего обостренного интереса:

Все понимающий в мире этом,
Что он увидел в последний миг,
Падая навзничь?..

Характер Толмачева обозначен только пунктирно, но тем не менее интересно. Он складывается из противоречия внешнего облика Толмачева, отнюдь не героического (комиссар идет в бой, «протерев пенсне», за минуту до смерти он сумел заметить «сосен соседство, синего неба простой кусок»), и непреклонной воли, решительности, подчеркнутой с помощью рефрена: «действуй, действуй!».

На первый взгляд Иван Мысин — человек мирной профессии (он машинист паровоза) — случайно оказался в соседстве с комиссаром Толмачевым и воинами артиллерийского полка. Для Гитовича же он однополчанин. Ведь Мысин — тоже человек подвига: он сумел провести эшелон по горящему мосту и в срок доставить грузы, а потом вернуться к мосту, чтобы потушить пожар. В эти минуты простой машинист становится вровень с комиссаром Толмачевым.

Но перекличка героев «Артполка» продолжается до самой последней страницы книги. В конце ее вчерашние бойцы уже шагают командирами запаса, твердо знающими свое место в общем строю:

От моря к морю, от песка к песку,
Мы только в долгосрочном отпуску,
Пока она не позовет на бой,
Пока бойцы не встанут за тобой.

И повторяет воинский билет,
Что это отпуск. Увольнения нет.

Книга «Артполк» в отличие от всех предыдущих оказалась цельной, злободневной и вместе с тем наполненной романтикой армейских буден. Недаром она тотчас была принята на вооружение в воинских частях и всюду, где обучались допризывники. В стихах, посвященных Гитовичу, его друг и ученик Алексей Лебедев скажет об «Артполке»:

Высокий зал военкомата.
Призыв. Холодный луч рассвета.
Перед отправкою ребята
Берут с собою книгу эту.

В короткое время «Артполк» выдержал два издания. Во второе автор включил стихотворение «Надпись на книге стихов». Я процитирую несколько строф из него, ибо эти строчки нужны как

эпиграф к удивительной истории, связанной с долгой и славной жизнью книги.

…Я все-таки не так устроен,
Я постарался — столько лет —
Вести слова тяжелым строем
Иных достоинств и побед.

И мне дороже всех традиций
И вдохновенья самого —
Земля, где падал Коробицын,
Застава имени его.

Слова пройдут, барьер ломая.
Не говори, — я знаю сам,
Что ты, Страна моя прямая,
Доставишь их по адресам.

Что от Мурманска до Памира
Прочтешь их басом молодым
Географам и командирам
И пограничникам своим.

Книга «Артполк» укрепила связи поэта с воинами, сделала его желанным гостем в казарме. Знаменательно, что газета Реввоенсовета Ленинградского военного округа «Красная звезда» (так прежде называлась газета «На страже Родины»), начав знакомить своих читателей с творчеством лучших поэтов, отдающих вдохновенье армейской теме, первую литературную страницу предоставила Николаю Тихонову, а вторую (6 сентября 1933 года) — Александру Гитовичу.

На этой странице Гитович напечатал подборку стихов и статью «О красноармейской поэзии». Статья подводила, так сказать, идейно-теоретическую базу под стихи, хотя адресовалась она начинающим авторам.

«Какова, на мой взгляд, сейчас основная задача оборонной поэзии? — писал Гитович. — Как молодой начинающий поэт должен поступать, чтобы на первых порах своей литературной работы не попасть в мертвое пространство общих фраз и прямолинейной неубедительности?

Наша беда заключается в том, что молодые красноармейские поэты часто не замечают того

драгоценного материала, который лежит у них под руками; они не используют своих неоценимых преимуществ: знания Красной Армии и возможности, благодаря этому, показать ее изнутри.

Красноармейский поэт обязан писать свои личные стихи, где было бы все, что его волнует… Он должен быть (иначе это не будет поэзией) прямым и откровенным в своих стихах, не боясь ошибок, которые могут быть на этом труднейшем пути создания подлинно красноармейской лирики».

Почти все, что декларировано в этой заметке, Гитович наполнил конкретным содержанием в книге «Артполк».

Правда, не все критики книги сумели увидеть ее неоспоримые достоинства.

В интересной и в общем верной статье о книге стихов А. Гитовича «День отплытия», вышедшей следом за «Артполком», критик Н. Молчанов, хотя и признавал «Артполк» несомненной удачей, все же отмечал, что «лирика этой книги элементарна». Критик не заметил, что идейный и лирический подтекст книги сильнее ее фактологии. Именно это и обеспечило ей ту жизнь, о которой сказал А. Лебедев.

Давно окончилась война, когда Гитович получил вдруг письмо от сотрудника «Правды» И. Бокова.

«Уважаемый Александр Ильич!

Разбирая в эти дни личную библиотеку, я обнаружил не совсем обычный экземпляр сборника Ваших стихов „Артполк“. Дело в том, что эту книжечку я подобрал в 1945 году где-то в Германии, в районе действия 2-го Белорусского фронта, в Политуправлении которого я тогда служил.

На книге имеются надписи ее бывшего владельца, артиллериста И. С. Степанова. Возможно, желание сделать эти надписи навеяно названием последнего стихотворения сборника („Надпись на книге стихов“ — Д. Х.).

И. С. Степанов написал на книге: „Она была увезена немцами“. И далее, обращаясь к тем, к кому, может быть, попадет она: „Пришли мне, если я буду жив, письмо после войны“. И оставляет свой адрес: „Сам я из г. Венева Тул(ьской) об(ласти), ул. Володарс(кого), 33“».

Надпись была сделана 10 апреля 1945 года во время боев на ближних подступах к Берлину.

И письмо И. Бокова, и книжку собственных стихов Гитович расценил как самый дорогой подарок. Но не терпелось поскорее узнать, как же попал «Артполк» к солдату Степанову, как оказалась книга за Одером. Судя по штампу, она принадлежала Минской библиотеке имени Ленина.

Не веря в возможность получить ответ от Степанова, Гитович тем не менее пишет ему в Венев.

Ответ приходит нежданно быстро. Пишет сам Иван Сергеевич Степанов, солдат, прошагавший с нашей армией весь долгий путь к победе и завершивший его в самом центре поверженной фашистской Германии.

И. С. Степанов рассказал, что в одном из населенных пунктов западнее г. Ратибор подразделение, в котором он служил, попало под очередной огневой налет. В поисках укрытия он вбежал в большое каменное здание и здесь увидел груды русских книг. Фашисты вывезли их из Белоруссии и теперь бросили, не успев, как обычно сжечь. Наше командование решило вернуть эти книги в Россию. Как только обстрел стих, бойцы получили приказание сложить книги в снарядные ящики, упаковать в бумажные кули. Так было отправлено более десятка «студебеккеров».

> «Меня заинтересовала книжечка ваших трудов „Артполк“, которую я читал бойцам, когда отправляли последнюю машину, — пишет в заключение И. С. Степанов. — Я сделал на ней надпись, поскольку книжечка возвращается в Россию, а я не был уверен, что останусь в живых. Но память о русском солдате будет жить. Я положил книгу в ящик, и она пошла в Россию».

Гитович был бесконечно счастлив, что его книжка стала на фронте огоньком, у которого хоть один солдат смог душевно обогреться. Строки письма старого солдата оказались для него лучшей похвалой, самой драгоценной рецензией, которую когда-либо ему приходилось читать о своих стихах. История с книгой, как ему казалось, завершила споры, разгоревшиеся в свое время вокруг нее. Пройдет еще пять лет, и он напишет «Воспоминания о книге „Артполк“»:

Как сложен мир, где судят люди
И обо всех, и обо всем, —
А мы шагаем у орудий
И скатки за спиной несем.

Пусть высока за это плата —
Но я тщеславен: я хочу,

Чтоб ограниченность солдата
Была мне в жизни по плечу.

В 1966 году, предваряя свой однотомник несколькими словами, обращенными к читателю, Гитович писал:

«В свое время я прослужил положенный срок в 11-м артиллерийском полку, а затем участвовал в трех войнах… Жизнь складывалась достаточно сложно, а вместе с ней и стихи шли сложным и неровным путем.

Но как бы то ни было, выбрав свой путь, я уж не сворачивал с него. Других путей у меня не было.»

Поэзия, будь на ногу легка!

«Я не был обижен веселой судьбой и, крупный ведя разговор, увидел Баренцева моря прибой и Азию — родину гор», — писал Гитович. Поэт, как всегда, точен. Маршруты его поездок по стране так и шли — с севера на юг, с юга на север. Его муза всегда была «на ногу легка», хотя путевые впечатления редко тотчас оседали в книгах. Даже в книгах, сами названия которых обещали показать увиденное, подобным стихам отводилось самое незначительное место. И тем не менее никогда не ошибешься, где написаны стихи — на севере ли, в Средней ли Азии. Почти никогда не писавший специально стихов о природе, крайне мало уделявший внимания пейзажу, поэт одним штрихом создает атмосферу, характерную для той или иной географической полосы, передает точное ощущение ее природы.

Поездки на Кольский полуостров, в Среднюю Азию, в другие края были для поэта средством общения с людьми. Всюду, где он бывал, у него появлялись друзья. Шли годы. Чубатые парни становились отцами семейств. Вчерашние комсомольцы уже руководили заводами и совхозами. За плечами остается молодость, — не без грусти замечает поэт, — но все эти люди сохраняют юношескую верность революционным идеалам. Они всегда узнаваемы в книгах Гитовича, он безраздельно к ним привязан, верит в их дружбу.

По-прежнему поэт выбирает в судьи всем героям своих стихов, как и себе лично, человека, на гимнастерке которого «сухо блестят» «петлицы армии моей малиновым огнем».

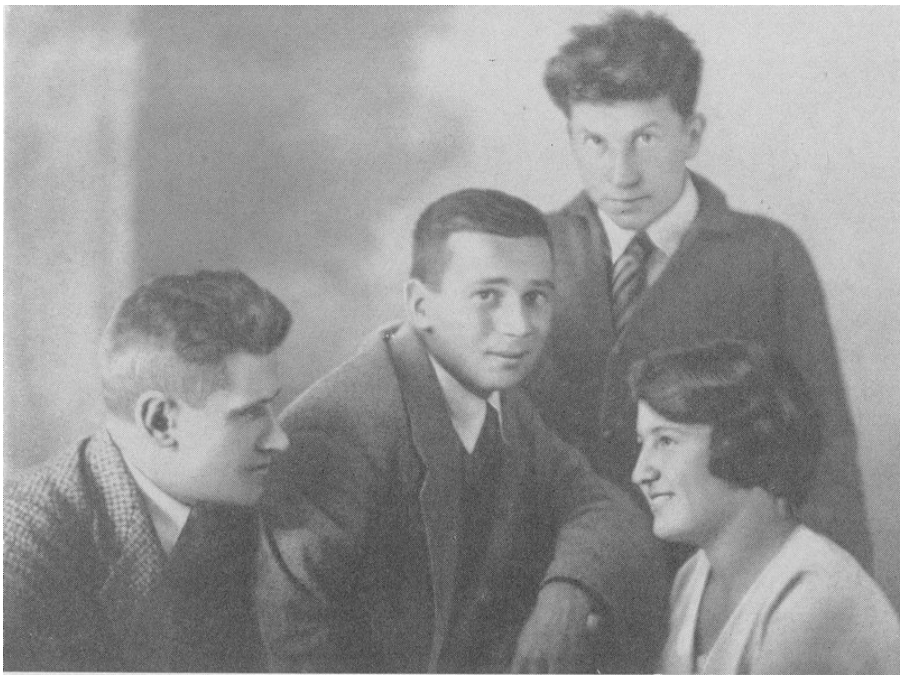
Так меня планета поучала:
— Ни воде, ни суше, ни огню
Не сдавайся, парень.
Для начала
Ветру говори: «Перегоню!»

Проверка боем, по мнению поэта, наиболее точная, позволяющая безошибочно определить, что стоит человек. Поэтому главный герой Гитовича по-прежнему — на бессрочной службе по вооруженной охране Отечества.

Но рядом с ним теперь все чаще появляются люди «в бензине и масле», как например, казахстанские шоферы, чьи «трехтонки плывут в пустыне, как лодки по океану». Под стать шоферам шахтеры «рудников Ачасая» или Аня Гордиенко — пилот

самолета начальника Прибалхашстроя Иванова, умевшего держать «за горло пустыню» «тяжелой матросской рукой». Поэту так понравилась Аня Гордиенко, что он мечтает даже

…увидеть дочь свою такою:
Легкую, в загаре золотом,
С маленькою жесткою рукою,
Ясными глазами, твердым ртом.



Б. Лихарев, А. Гитович, Н. Жданов и студентка ташкентского университета. Ташкент, 1936

В 1936 году, когда были написаны эти стихи, Гитович вдоль и поперек исколесил Узбекистан, побывал в Таджикистане. Значительная часть этого путешествия была проделана им вместе с давним другом своим Борисом Лихаревым и замечательным чешским коммунистом Юлиусом Фучиком, приехавшим тогда в Советский Союз в качестве корреспондента газеты «Руде право». Они понравились друг другу — чешский журналист и ленинградские поэты. Их объединяло многое: влюбленность в мир, пристрастие к острому слову, уменье вести долгий разговор в дружеском застолье. Гитович не раз уже бывал в Средней Азии, и само собой вышло, что он стал гидом Фучика. Они исколесили тысячи километров и всюду убеждались, что «в пустынях, как на войне — поверьте, — такие же точно парни проходят у края

смерти».

Недавно мне довелось перечитать книгу избранных произведений Юлиуса Фучика. В нее вошло немало очерков и репортажей, переданных автором в «Руде право» из Средней Азии именно в то время, когда он совершал путешествие вместе с Гитовичем.

В некоторых очерках я почувствовал присутствие умного, чуть насмешливого и веселого гида, каким был Гитович. Они побывали во многих колхозах и совхозах, в городах и кишлаках. И конечно же, на пограничных заставах. И тут снова узнается «рука Гитовича».

Когда я собирал материал для книжки о Борисе Лихареве, Гитович рассказал мне, как однажды на границе его и Фучика пригласили в ночной дозор. Им «повезло». В эту ночь нарушители перешли границу: афганский крестьянин переправил через реку беременную жену, чтобы русский доктор помог ей родить. Гитович собирался даже когда-нибудь рассказать об этом забавном эпизоде. Он, видимо, не знал, что этот факт вошел в очерк Фучика «На Пяндже, когда стемнеет», напечатанный 1 марта 1936 года в газете «Руде право».

В каждом пограничном отряде, в любом военном городке он встречал тех, кто «новой жизни ради» «здесь вынесли смертельную жару». У своих собеседников поэт учился мужеству и отваге, как учился «слову твердой чистоты у полных силы рек Таджикистана».

Особенно памятной была встреча с военкомом конной бригады. Из первых уст Гитович и Лихарев узнали, как была разгромлена банда Файзулы Максума. Это был один из острых эпизодов борьбы с басмачеством. И Лихарев и Гитович рассказали о нем в поэмах. Лихарев назвал свою поэму «Защита Гарма». Он ограничился лишь пересказом главных событий: банда басмачей во главе с Файзулой Максумом захватила город Гарм, где не было ни одного красноармейца. Узнав об этом, комиссар Федин на самолете пролетел за ночь 500 километров (дело было в 1927 году), приземлился на главной площади городка. Имя Федина, известного своим легендарным мужеством и бесстрашием, наводило на басмачей страх. Увидев комиссара там, где никто не мог его ожидать, басмачи разбежались.

В основе поэмы Гитовича те же факты. Но его поэма не похожа на лихаревскую. Для Гитовича эпизод, связанный с разгромом банды басмачей, лишь повод для широкого героического повествования. Цель его, пользуясь выражением М. Горького, показать «человека-героя, рыцарски самоотверженного, страстно влюбленного в свою идею». Гитович дал характер

большевика, раскрыл его в столкновении с врагами. В результате в его поэме мы наблюдаем не просто за боевым эпизодом, пусть весьма ярким, а становимся свидетелями своеобразного поединка двух моралей, двух идеологий. Для этого ему пришлось перенести действие в стан противника, показать тех, кто, как опытные режиссеры, держали в своих руках все нити басмаческой авантюры. Поэт сталкивает комиссара и опытного разведчика, полковника английской службы. Прежде чем они сойдутся в бою, мы видим их, так сказать, на исходных позициях, знакомимся с их внутренним миром.

Правда, сперва образ комиссара создается по известному трафарету: «скромность легендарная», молчаливость, «лицо худое становилось черствым, и разговор, налаженный с трудом, он обрывал», стоило только неосторожно «спросить о нем самом». Но постепенно комиссар приобретает живые, индивидуальные черты. Мы узнаем, что «в глубине души своей свободной он был поэтом слова одного», «точный смысл» которого «с первоначальной силой сознавал». Это слово «товарищ». Он никогда не жалел ни усилий, ни жизни проходящей, ничего, чтобы вызволить людей из беды, помочь таджикам сменить «лицо невыразимой нищеты, отмеченные вечною трахомой, усеянные оспою черты». «Пятнадцать лет он воевал за это», за то, чтобы вчера еще разобщенные люди становились товарищами, вливались в «народов сомкнутое братство». Его усилия не проходили впустую, и он радовался по-детски, когда видел, что день ото дня ширится круг его друзей.

И счастлив был,
Когда,
С известным шиком
На ишаках проехав босиком,
Его четыре старика таджика
Окликнули:
— Товарищ военком!

За пятнадцать лет жизни в пустыне комиссар хорошо изучил повадки и тех, кто «рукой другого загребает жар», и исполнителей их воли — атамана басмачей Файзулы, русских белогвардейцев, которых «обучали быть афганцем, и таджиком, и туркменом и все остатки совести забыть». История падения одного из бывших царских офицеров проходит перед нашими глазами. Выпускник кадетского корпуса, сперва нес «сияние военного мундира», потом «переменил полдюжины пехотных заброшенных в провинции полков», еще до войны успел опуститься, и, когда пришла война с

немцами, на поле боя он «храбростью нисколько не страдал». «Не судом судеб, а волею российского народа» после революции он оказался за рубежом и здесь окончательно потерял человеческий облик. Ему стало решительно все равно, с кем иметь дело — с попами или муллами, с царями или падишахами. Он уже даже не обижался, что «британец, холодней, чем снега наст», ему «и в перчатке руку не подаст». Из всех чувств в нем осталась лишь ненависть к людям. Только «врываясь в перепуганный кишлак», он ощущал еще «биенье сердца», но когда в громе и в дыму шли, «озверев, его единоверцы», они были «такие ж ненавистные ему, как только что убитые дехкане».

«Точным командирским языком» поэт рассказывает о приготовлениях к беспримерному бою. Против целой банды басмачей комиссар отправился только с четырьмя бойцами: больше нельзя было взять в самолет. От места приземления этот крохотный отряд шел 12 километров пустыней. Марш был нелегким, особенно для пулеметчика, который нес на широком плече свое оружие, «радуясь, что зноя в такое время суток нет еще». Гитович не торопится начать бой. Он рисует картину рассвета, которая по контрасту должна усилить центральный эпизод поэмы.

Рождалось утро, тихое, простое,
Был крови след ему невыносим.
И кони, сбившись в кучу, спали стоя,
И неземные травы снились им.

И бой грянул. К сожалению, он описан бегло, скороговоркой. От этого победа советских воинов над басмачами выглядит несколько облегченной. Но, сдается мне, поэт и не ставил перед собой такой задачи. Цель его была иной, более важной — показать здравый смысл отваги. Именно это качество — определяющее в характере комиссара. Комиссар безошибочно рассчитал, что появление его в городе, затерянном в горах, куда красноармейские части могли добраться лишь за несколько дневных переходов, будет главным его оружием. Так оно и случилось. Когда комиссар с винтовкой наперевес появился на базарной площади, где воины ислама предвкушали скорый завтрак, а «просвещенный Файзула» уже «руки окропил перед едою», «басмачи глазам своим сначала отказывались верить наотрез». Но перед ними было не видение. Комиссар спокойно и точно послал затвором винтовки патрон и нажал на спусковой крючок. И басмачи уже не сомневались: он пришел во главе своей дивизии. Горстка храбрецов наголову разбила банду Файзулы.

Поэма «Город в горах» была написана в 1938 году и продолжила оборонную тему в творчестве поэта. Он не сомневался, что ему снова и снова придется к ней возвращаться. Об этом он говорит в последнем обращении к читателю:

Еще не раз ударит гул набата,
На всех фронтах
Не кончена борьба,
И по барханам
Желтым и горбатым
Нас понесет
Военная судьба.

Три года отделяют поэму «Город в горах» от стихотворения «Смерть Толмачева» и почти шесть от «Коробицына». За это время Гитович продвинулся далеко вперед.

В новой книге «День отплытия» (1936) появился цикл стихов с заглавием «Открытые дневники».

Цикл состоит из восьми коротеньких стихотворений о любви. Они пронизаны солнцем. Поэт точно и тонко передает состояние влюбленности, когда и звезды становятся светлей, и веришь безотчетно «в то, что весело на свете, что существует братство на земле».

«Открытые дневники» обнаружили новые стороны его дарования. Оказалось, что певец военного мужества и ратного подвига может быть нежным лириком. Недаром, обращаясь к любимой, он говорит: «Я бы мог коснуться не стихами, а просто сердцем — сердца твоего». Мы читаем эти дневники с таким ощущением, как будто близкий человек дал нам свои письма, а может, и вернул наши собственные, которые он только бережно сохранил. Ведь то, о чем идет речь в этих стихах, было пережито и нами. Вот почему «Открытые дневники» сразу же нашли благодарный отклик самых широких кругов читателей.

Пройдет немного времени, и Гитович снова вернется к лирике, я имею в виду цикл «Разлука. Единственное невеселое путешествие» (1939). Цикл был написан между 5 октября и 17 ноября. За это время поэт побывал в Мончегорске, Мурманске, Кировске, Кандалакше и в других местах Заполярья.

Предвоенные годы были отмечены значительным вниманием к любовной лирике. В студенческих общежитиях зачитывались поэмой К. Симонова «Пять страниц», широкую известность получили стихи С. Щипачева, вышла книга В. Луговского «Каспийское море», летом 1940 года впервые после долгого перерыва появился сборник А. Ахматовой («Из шести книг»).

Тысячи юношей и девушек, знавшие наизусть «Стихи о советском паспорте» В. Маяковского, обнаруживали у него обойденные школьной программой «Облако в штанах» и «Про это», увлекались поэзией С. Есенина.

Неудивительно, что стихи Гитовича с присущей им обнаженностью чувств, предельной доверительностью сразу же получили широкую известность.

Циклу «Разлука» было посвящено специальное обсуждение в Союзе писателей. Оно состоялось в мае 1950 года. Многие из нас тогда только что вернулись с финской войны. Она была недолгой, но за три месяца мы расстались с безмятежной юностью. Нам довелось пройти сквозь огонь, собственными руками рыть первые братские могилы и положить в них лучших друзей. Что-то изменилось в нас. Мы еще не знали что. Но тем не менее молодая кровь бурлила в наших жилах. И как ни трудно было смотреть в глаза матерей наших товарищей, оставшихся в снегах Финляндии, мы не могли скрыть собственной радости: ведь мы выжили, вновь видим Неву, а за каждым поворотом улицы нас может ожидать большая любовь.

Наверное, это все вместе взятое, а также и то, что «Разлуку» написал наш старший товарищ, тоже побывавший на фронте, предопределило особое восприятие этих стихов.

Сохранилась стенограмма обсуждения этого цикла в Доме писателя имени Маяковского. Не все были единодушны в оценке стихов. Но большинство отмечало возросшее мастерство поэта. Ольга Берггольц говорила, что в стихах «Разлука» есть «тайна поэта», «то, что обязательно для стихов»: в них «события, чувство… вынесено как бы за стихи, оно не названо целиком в стихе… читателю предоставляется заполнять личным опытом то, о чем говорит поэт. Он дополняет, и поэтому-то стихи не стареют, и поэтому-то стихи нас и волнуют».

В «Разлуке» поэт был занят поиском очень точного слова, способного с предельным лаконизмом передать возможно больше душевной информации. Стихи цикла, как почти всегда у Гитовича, невелики по размерам. В них восемь, двенадцать, максимум двадцать строк, но в этих строках спрессовано столько мысли, чувства, настроения, что каждое стихотворение можно рассматривать как поэму.

В самом деле, прочтем первое же восьмистрочное (Так у автора — Д.Х. На самом деле в стихотворении 12 строк. Примечание сканировщика.) стихотворение, с нарочитым названием «Бедные рифмы». Формально название стихотворения точно: в нем использованы действительно бедные, глагольные рифмы. Маяковский говорил: «Рифма связывает строки, поэтому

ее материал должен быть еще крепче, чем материал, пошедший на остальные строки». Гитович пренебрег этим правилом.

Невесело мне было уезжать.
А, думаешь, мне весело скитаться,
В гостиницах унылых ночевать,
Чего-то ждать в пути — и не дождаться,
Чему-то верить, в чем-то сомневаться
И ничего как следует не знать?

Наверно, в жизни нужно зарыдать
Хоть раз один. Не вечно же смеяться
Сумевшему внезапно угадать,
Что нам придется навсегда расстаться,
Что в час, когда сердца должны смягчаться,
Я не смогу ни плакать, ни прощать.

Разве мы замечаем «бедные рифмы»? Разве думаем о том, как написаны стихи? Нас просто захватывает исповедь. Чья она? Лирического героя? Поэта? А может быть, наша с вами?

Стихотворения отличаются большим ритмическим разнообразием. Цикл воспринимается как полифоническое произведение, в котором все группы инструментов имеют возможность проявить себя. Изящная, на одном дыхании произнесенная «Песенка»:

И ты был, друг мой, тоже
Получше, помоложе,
И девушка хотела
Не разлюбить вовек.
И сочинил ты в песне,
Что нет ее прелестней,
И сам тому поверил,
Наивный человек.

Но годы, слава богу,
Проходят понемногу,
Живешь, не ожидаешь
Ни писем, ни вестей.
А за стеною где-то
Поется песня эта
О девушке, о счастье,
О юности твоей.

А рядом патетические строки:

Что мне теперь песок любой пустыни,
Любого моря блещущий прибой,
Мне, ясно понимающему ныне,
Насколько я в долгу перед тобой.

Я дешево плачу: смертельной мукой,
Томительным сознанием вины,
Отчаяньем, и горем, и разлукой —
За ту любовь, которой нет цены.

И горькие признания:

Прикажете держать себя в руках,
В работе находить свое спасенье,
Слова искать в пустынных рудниках
Под непрерывный гул землетрясенья

И самому, о гибели трубя,
Замучить ту, что все же не разлюбит?
Стихи, стихи! Возьмут они тебя,
На миг спасут — и навсегда погубят.

Гитович проводит нас по извилистым дорогам любви, говорит, казалось бы, о таких вещах, о которых обычно молчат, но от стихов исходит редкое целомудрие. Оно усиливает контакты между автором и читателем. На такую искренность и обнаженность чувства может пойти только очень сильный человек, уверенный в том, что будет правильно понят.

Поэт впервые занят анализом чувства. Умевший находить верные слова, характеризуя мужество, воинскую доблесть, он обнаруживает незаурядные способности, показывая движения души. Каждая фраза, сказанная им, как будто бы слышанная нами не раз, вдруг приобретает в его стихах новое значение, в ней конденсируется значительно больше смысла, чем должно стоять за словами, из которых она состоит.

Циклу «Разлука» чужда умиленность, пасторальность, идилличность, которые так часто снижали интерес к любовной лирике иных наших поэтов довоенных лет. Стихи Гитовича — остро конфликтны, в них почти все время идет борьба, столкновение чувств. От них веет беспокойством. Они заставляют нас снова и снова проверить себя, чтобы приблизительное не

принять за настоящее.

Скитания по Северу помогли родиться «Разлуке», за переживаниями поэта стоит «Лапландия, милая сердцу», чей «облик уныл и неярок». Вторая поездка в Среднюю Азию дала поэму «Город в горах» — единственную в литературном наследии Гитовича.

Во всех своих путешествиях Гитович чувствовал себя не географом, а человековедом. Он видел своими глазами, что «мы строим лучшее бытие на лучшей из планет». И хотел словом своим помочь людям в этом важном деле. Все меньше в книгах его остается газетной публицистики. Чем ответственней задачи, которые решает поэт, тем более взыскателен он к форме, к деталям поэтического языка.

Гитович обращался к классическому стиху, будучи убежденным, что возможности его неисчерпаемы. Об этом он не раз говорил в своих публичных выступлениях. Верность классическому стиху была главным направлением учебы руководимого им объединения молодых ленинградских поэтов, с работой которого нам еще предстоит познакомиться. Ни себе, ни своим ученикам и друзьям он не прощал малейшей неряшливости, приблизительности средств выражения.

Выступая на ленинградской поэтической дискуссии в 1940 году (стенограмма этого выступления была опубликована в номере 8–9 «Литературного современника» за тот же год), он говорил:

> «Я недавно, подбирая книгу избранных стихов, просмотрел свои старые сборники. С самим собой стесняться нечего, и поэтому я разрешу себе с полной откровенностью сказать, что некоторые строчки нельзя назвать иначе, как бредом. Что значит, например:
>
> Ты выдуман, Север, но около Колы
> Бои ударяли тебя по плечам.
>
> Или еще лучше:
>
> Где Север присел на четыре ноги…
>
> Самое замечательное, что критиков, обвинявших такие стихи в любых грехах — от биологизма до декларативности, строки, подобные „Северу, присевшему на четыре ноги“, нисколько не удивили и даже не

позабавили.

Критики считали, что в данном случае все в порядке.

А этот „порядок“, несомненно, повредил советской поэзии».

Подобную взыскательность к собственному творчеству Гитович сохранит на всю жизнь. Больше того, с годами она будет все больше возрастать. Его пример сыграл немалую роль в том, что молодые ленинградские поэты (и прежде всего те, которые группировались вокруг объединения, возглавляемого Гитовичем) оставались верными стиху Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Блока. «Развитие традиций есть такое же новаторство в искусстве, как и ломка традиций» — так формулирует свою позицию Гитович в записной книжке 60-х годов.

Невыполненное задание

Бывший редактор газеты 54-й армии «В решающий бой» И. Душенков рассказывал мне:

— Послал Гитовича сделать материал о батальоне аэродромного обслуживания, а он полетел на бомбежку. Задания не выполнил, но командующий приказал представить его к медали «За отвагу».

Редактор не знал еще одного прегрешения Александра Ильича: первые впечатления о полете были напечатаны не в его газете.

…Аэродром, куда приехал Гитович, был расположен на стыке 8-й и 54-й армий.

Случилось так, что наша редакционная «эмка» как раз в этот день застряла из-за очередной неисправности в двух шагах от аэродрома. Я отправился к летчикам просить буксир.

Комиссар полка, мой знакомый еще по финской войне, был расстроен: действительно, Гитович уговорил командира разрешить слетать на бомбежку. Полет прошел вполне благополучно, но комиссар не знал, чем еще окончится эта история.

— Знаю вашего брата, — шутил комиссар. — Ну, захотел полетать — полетел. Ладно. Так ведь напишет! А меня начнут трясти: почему разрешил.

Гитович спал богатырским сном в землянке комиссара. Со стола еще не были убраны остатки завтрака, и, судя по ним, раннего пробуждения ожидать не следовало.

Однако едва я сел в кабину полуторки, которая должна была отбуксировать нашу «эмку», как Гитович, умытый и свежий, появился на дороге. Я уговорил его ехать к нам, а от нас уже добираться до своей редакции. Крюк был невелик. Радушие же мое было не без задней мысли. Я думал уговорить Гитовича написать о полете и в нашу газету «Ленинский путь».

Гитович был у нас в редакции не редким гостем. Критик Лев Ильич Левин работал с Гитовичем в редакции журнала «Литературный современник», Всеволод Александрович Рождественский состоял с ним в одной секции Союза писателей. Гитович близко сошелся со многими из нас. Неудивительно, что он не устоял: написал для наших читателей заметку «На ночном бомбардировщике». Мне хочется воспроизвести ее целиком. Она — не только документ тех незабываемых лет, но и образец журналистской работы.

«Маленький самолет плавно отрывается от земли и, набирая высоту, уходит в ночное небо. Мы летим строго на запад, и широкая полоса зари розовеет перед нами на горизонте. Внизу отчетливо видны узкие, как проволока, дороги, черные пятна лесов и белый туман в низинах. Летчик — дважды орденоносец Иван Зайков — оборачивается ко мне. Лицо его спокойно, как лицо шофера, ведущего машину по благоустроенной, хорошо знакомой дороге.

Мы пересекаем линию фронта. Она ясно обозначена светящимися нитями трассирующих пуль и немецкими ракетами, то и дело вспыхивающими под нами.

Самолет летит над дорогой. Две автомашины идут по ней. Сверху они кажутся маленькими и медленными как черепахи. Но Зайков ищет цель покрупнее. Через несколько минут он ее находит. На опушке небольшой рощи работает двухорудийная немецкая батарея. Яркая вспышка огня, потом вторая. Через секунду огни вспыхивают и гаснут опять. Зайков резко ведет самолет на снижение.

Три бомбы одна за другой летят вниз. Самолет делает круг над целью, и в это время начинают бить зенитки. Длинный луч прожектора шарит по небу, но Зайков уходит на второй круг. Батарея молчит.

— Бросайте листовки! — говорит Зайков. — Если кто жив, пусть почитают.

Самолет ложится на обратный курс. Красные огоньки ракет вспыхивают слева от нас. Это „мессершмитты“, патрулирующие над передним краем, сигналят своим войскам. Но мы уходим далеко вправо.

Вскоре самолет приземляется на просторном поле аэродрома. Руководитель полетов старейший летчик эскадрильи Николай Павлович Аввакумов принимает рапорт Зайкова.

— Товарищ капитан, — докладывает лейтенант, — боевая задача выполнена».

Потом мне довелось прочесть корреспонденцию об этом полете, напечатанную в газете «В решающий бой». Она была более развернутой, с подробностями, но и в ней автор ни словом не обмолвился о собственных переживаниях. Это — характерная особенность Гитовича-журналиста. Он писал только о том, что видел своими глазами, о событиях, в которых непосредственно участвовал, но решительно отказывался «расцвечивать» очерки и

корреспонденции лирическими отступлениями, которые намекали бы читателю на личную храбрость автора.

Нельзя не обратить внимания и на то, что перед нами — хорошая военная проза. В крошечной по размерам корреспонденции, не занявшей и одного столбца в газете малого формата, автор сумел не просто рассказать об одном заурядном фронтовом эпизоде, а дал яркую картину боевой жизни и набросал характер летчика.

После войны у нас опубликовано немало военных мемуаров, дневников военных писателей, их репортажей, очерков, писем. Это доброе и нужное дело. Наш читатель знает фронтовую публицистику И. Эренбурга, блистательные очерки с мест событий К. Симонова, фронтовые корреспонденции Ю. Жукова, Е. Кригера и других известных литераторов. Их книги помогают всем, и прежде всего нашей молодежи, лучше представить себе величие подвига советского народа, характер современной войны. Но до боли жаль, что до сих пор в подшивках дивизионных, армейских и фронтовых газет погребено бессчетное множество корреспонденции, подобных той, что была процитирована выше. Между тем они — наше коллективное достояние. Цену его трудно определить — столь велика она. Наши критики, давая оценку фронтовой публицистике, репортажу с поля боя, нередко в качестве образцов ссылаются на военные дневники Э. Хемингуэя, реже вспоминаются «Севастопольские рассказы» Л. Толстого или фельетоны А. Серафимовича с фронтов гражданской войны. А между тем не корреспондентская работа Хемингуэя, а очерки Толстого и Серафимовича были теми образцами, на которые равнялась армия советских публицистов, ежедневно разговаривавших с читателем в годы войны о войне.

Одним из них был и А. Гитович.

Для большинства профессиональных газетчиков заметки и корреспонденции как бы подводили черту под какими-то событиями или впечатлениями. Для поэта они часто оказывались чем-то вроде этюдов к будущим стихам.

О полете на ночном бомбардировщике поэт вспомнит, казалось бы неожиданно, в очень интимных стихах:

…Холст на саван отмерьте,
Жгите богу свечу,
А спокойною смертью
Помирать не хочу.

Вижу лес и болото,
Мутный сумрак ночной,

И крыло самолета,
И огни подо мной.

Пуль светящихся нитки,
Блеск далекий огня —
Из проклятой зенитки
Бьет германец в меня.

Вот совсем закачало,
Крутит по сторонам,
Но мы сбросим сначала.
Что положено нам.

А потом только скажем,
Что и смерть нипочем.
Жили в городе нашем,
За него и умрем.

Мне не надо, родная,
Чтобы, рюмкой звеня,
Обо мне вспоминая,
Ты пила за меня.

И не надо ни тоста,
Ни на гроб кумачу,
Помни только, что просто
Помирал как хочу.

Когда-то, на заре туманной юности, Гитович написал строчки:

Чтобы был я, как боец заставы,
И в бою — со страхом незнаком.

Война показала, что в этих словах не было преувеличения. Все армейские газетчики не праздновали труса, но и среди нас Гитович выделялся смелостью, презрением к опасности, когда нужно было заполучить для газеты наиболее интересный материал. Мы с завистью перечитывали многие его корреспонденции. Он успевал побывать и в небе, и в лыжном рейде, и принять участие в организации ночного поиска.

Освобожденный по состоянию здоровья от воинской службы, Гитович в первые же дни войны ушел в ленинградское народное

ополчение. Ополченцами стали многие известные артисты, художники, ученые и, конечно, писатели Ленинграда. В дивизии народного ополчения Кировского района был сформирован целый «писательский взвод».

Гитовича направили в газету народного ополчения «На защиту Ленинграда». Здесь из номера в номер появлялись его стихи, корреспонденции, заметки.

Работа в газете народного ополчения требовала особого напряжения. Подавляющее большинство ополченцев никогда не служило в армии, не имело представления о воинских порядках, уставах и наставлениях. Вот почему газета, широко освещая ход боевых действий, показывая героев боев, много внимания уделяла пропаганде самых элементарных законов армейской жизни. Тут-то и пригодилось Гитовичу уменье говорить «по воинским уставам, точным командирским языком». Он пишет цикл коротеньких, в четыре-восемь строк, стихотворений. Каждое истолковывало одно требование присяги. Вместе с тем он должен был заниматься и чисто журналистской работой.

Помню, в августе 1941 года фронт облетела весть о беспримерном подвиге танкистов во главе с Зиновием Колобановым. Пять наших танков в течение одного дня уничтожили 43 немецких танка, 18 орудий и минометов, 11 бронетранспортеров и 9 колесных машин. Не часто в начальный период войны нам удавалось столь малыми силами одерживать такие значительные победы.

Вполне понятно было стремление журналистов поскорее встретиться с Зиновием Колобановым и его товарищами. Мы буквально охотились за танкистами, но после памятного августовского дня те не выходили из боя. К тому же линия фронта все время менялась, и наши поиски не увенчивались успехом. И вдруг в газете «На страже Родины» появились стихи А. Гитовича «Танкист Зиновий Колобанов». Правда, это был обычный для того времени репортерский отклик, но все же мы не могли не позавидовать удаче своего товарища.

Зиновий Григорьевич Колобанов, который ныне живет в Минске, рассказал мне, что Гитович был единственным журналистом, сумевшим пробраться тогда в это подразделение. Правда, беседа их оказалась чрезвычайно короткой. Начался бой, и танкисты, поднятые по тревоге, снова ушли встречать врага.

После того как была ликвидирована газета ополчения, Гитович некоторое время работал в редакции 55-й армии. Он пришел туда обстрелянным солдатом и опытным военным журналистом со строгими принципами. Один из них гласил: садись писать лишь тогда, когда был если не участником, то, во

всяком случае, очевидцем событий. Что это значило в те времена, до конца понять может, пожалуй, только фронтовой журналист. Ежедневно газета требовала прорву самого разнообразного материала. В поисках его мы могли рассчитывать только на себя, на свою волю, смелость, физическую силу наконец, ибо, как известно, «там, где мы бывали, нам танков не давали». Когда на отдельных участках фронта активность обеих сторон снижалась, мы перекочевывали туда, где молот войны грохотал сильнее. Естественно, что в таких условиях добывать факты было нелегко. Тем не менее Гитович не довольствовался материалом из вторых рук. Он дорожил званием военного корреспондента и немало сделал для того, чтобы повысить уважение к газетчикам в глазах солдат переднего края. С презрением и брезгливостью он говорил о тех, кто готов писать о подвигах, наблюдая их из землянки второго эшелона. В 1943 году Гитович написал стихи «Военные корреспонденты», не предназначавшиеся для печати. На Ленинградском и Волховском фронтах они ходили в списках. В них поэт сформулировал те принципы, которые для него самого были непреложными законами. Во г эти стихи:

Мы знали все: дороги отступлений,
Забитые машинами шоссе,
Всю боль и горечь первых поражений,
Все наши беды и печали все.

И нам с овчинку показалось небо
Сквозь «мессершмиттов» яростную тьму.
И тот, кто с нами в это время не был, —
Не стоит и рассказывать тому.

За днями дни. Забыть бы, бога ради,
Солдатских трупов мерзлые холмы,
Забыть, как голодали в Ленинграде
И скольких там недосчитались мы.

Нет, не забыть — и забывать не надо
Ни злобы, ни печали, ничего…
Одно мы знали там, у Ленинграда,
Что никогда не отдадим его.

И если уж газетчиками были
И звали в бой на недругов лихих, —
То с летчиками вместе их бомбили
И с пехотинцами стреляли в них.

И, возвратясь в редакцию с рассветом,
Мы спрашивали, живы ли друзья?!!
Пусть говорить не принято об этом,
Но и в стихах не написать нельзя.

Стихи не для печати. Нам едва ли
Друзьями станут те редактора,
Что даже свиста пули не слыхали,
А за два года б услыхать пора.

Да будет так. На них мы не в обиде.
Они и ныне, веря в тишину,
За мирными приемниками сидя,
По радио прослушают войну.

Но в час, когда советские знамена
Победа светлым осенит крылом,
Мы как солдаты знаем поименно,
Кому за нашим пировать столом.

Несколько раньше этих стихов были написаны другие — «В редакции». В них поэт описывает один редакционный вечер, когда газетчики рассказывают друг другу фронтовые байки. Он не щадит многих, выделяя лишь того, кто «в полный рост идет под пулями». Правда, словно бы опасаясь, не очень ли выспренной оказалась оценка, поэт снижает ее шуткой:

Он рад бы каждой кланяться. Да вот,
Самолюбив. На людях неудобно.

Говоря о моральном кодексе поэта на войне, я пока ограничивался только его собственными стихами. Но почти во всех редакциях газет Ленфронта могли рассказать о достойном поведении Гитовича на переднем крае. Приведу несколько строк из письма фронтового друга Гитовича — полковника И. Томилина. Оно было получено уже после войны, но в нем содержится любопытное свидетельство очевидца:

«…От кого-то из фронтовых товарищей я слышал, будто бы ты был убит в один из твоих отчаянных выездов из редакции на передний край, во время контратаки немцев где-то под М. Славянкой. Я очень сожалел. И

вплоть до 1961 года я был уверен в этом, тем более, что в одном из ленинградских журналов, лежа в больнице, я прочел твои „Стихи прошлых лет“. Тогда я еще больше уверился, что тебя нет в живых, и товарищам по палате рассказывал еще про тебя, что у меня был такой друг — поэт, писатель, журналист, храбрый и отважный щелкопер, но накрылся… на фронте. В те времена эта версия была вполне возможна, и все вместе со мной сожалели об этом. Вспоминал я, как перед немцем, в 200 метрах от его траншей, ползли мы с тобой по снегу и потом отогревались наркомовскими ста граммами с неоднократными повторениями. Я еще говорил, помню, одному из командиров рот, что „этот армейский корреспондент может оставить меня без головы“…»

Подобных свидетельств можно привести множество. Недаром Гитович утверждал:

Двойная жизнь поэта и солдата
Не терпит раздвоения души.

Гитович первым среди ленинградских военных журналистов открыл свой личный счет мести врагу. Однажды, приехав к снайперам, чтобы написать о них, он отправился вместе с ними на передний край и весь день наравне со всеми охотился за фашистами. Он долго носил в полевой сумке листок из тетрадки в клетку, на котором командир роты написал, что видел, как Гитович метким выстрелом убил фашиста. В другой раз, уже на Волховском фронте, он с неимоверными трудностями пробрался в самый отдаленный, вынесенный далеко на Малуксинское болото дзот «Таня» и в течение недели делил с крошечным гарнизоном дни и ночи, полные опасностей. Потом он написал о людях этого дзота серию очерков.

В стихах «Счастье», написанных в форме письма к женщине, отвечая на ее вопрос, был ли он хоть однажды счастлив на войне без нее, поэт с солдатской прямотой отвечает: был дважды. Первый раз, когда «семь часов лежали мы в траншее на сыром, на мартовском снегу», чтобы на восьмом в черном перекрестье снайперской винтовки увидеть и сразить врага. Второй раз — когда летел на бомбежку. Стихи были написаны в сентябре 1942 года.

Почти у каждой его корреспонденции была подобная предыстория. Сбор материалов для них почти всегда был связан с риском для жизни. Солдаты знали и выделяли подпись Гитовича

в газете, уважали его за то, что он всегда был готов делить с ними и табак и опасность. Начальство же не очень жаловало его: уж очень много хлопот доставляли ему походы поэта на передовую. Удержать его на командном пункте полка или батальона было занятием безнадежным. При всем этом поэт не кичился своим бесстрашием: «…и то, что друзья мои были героями — вот это никак не отнять у меня».

Война была великой школой для всех ее участников, в том числе и для литераторов. В этой школе обучались не только военному делу.

В блокадном дневнике Вс. Вишневский оставил любопытную запись:

> «И город и мы, ленинградцы, непрерывно эволюционируем, — ибо эволюционирует война, и это непрерывное ощущение движения неизмеримо острее, чем до войны. Меняются люди, облик города, субъективное отношение к пейзажу. Обостренность чувств уступает место ощущениям более прочным, более тяжеловесным, что ли. Первые романтические взлеты 1941–1942 годов заменяются тяжелой уверенной поступью».

Это замечание в полной мере может быть применено к Гитовичу.

Ленинградских литераторов не следует, пожалуй, разделять на фронтовиков, то есть тех. кто ушел в армию и на флот, и «тыловиков» — тех, кто оставался в осажденном городе. Разницы между обеими группами в смысле опасности и образа жизни почти не было: в городе от голода, бомбежки и обстрелов погибло не меньше членов союза, чем непосредственно на переднем крае.

Как это ни странно, но война, нарушившая привычные условия писательской работы, принесшая с собой, кроме постоянной опасности, голод и холод, не лишила литераторов вдохновения. Больше того, многие из ленинградских писателей именно в годы блокады сумели создать свои лучшие произведения.

После первых откликов на войну, после первых репортажей, деклараций и оперативных — часто весьма поверхностных — очерков из действующей армии и из цехов заводов и фабрик литераторы начали коллективную художественную летопись обороны Ленинграда. Они создали много хороших стихов, рассказов, повестей и романов, со страниц которых встает время и главный герой его — солдат и труженик во всем многообразии обстановки, переживаний, столкновений характеров, во всем

величии высокого человеческого духа.

Историкам литературы, видимо, предстоит разгадать, почему именно в условиях блокированного города, лишенного возможности дать своим защитникам самое элементарное и необходимое, ленинградские поэты с большим успехом разрабатывали, например, такой монументальный жанр, как поэма. Ведь в короткое время были написаны «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Россия» А. Прокофьева, «Киров с нами» Н. Тихонова — вещи, каждая из которых вошла в сокровищницу советской поэзии.

Хорошо работали другие ленинградские поэты. На фронте создали свои лучшие стихи М. Дудин, С. Орлов, В. Шефнер, Г. Суворов. Одни из них были танкистами, другие газетчиками, третьи бронебойщиками, у них были разные почерки, но исповедовали они одно. Для многих стихи Гитовича были своеобразным мерилом мастерства.

В послевоенных книжках Гитович напечатал лишь малую толику фронтовых стихов. Собранные вместе, они составили тоненький сборник. Остальные, а их хватило бы на самый объемистый том, были написаны по таким конкретным поводам, были так слитны с другими материалами на газетной полосе, что их, по мнению поэта, трудно понять в послевоенных изданиях. Тем не менее и они были сделаны, как заметил Гитович на одной из послевоенных дискуссий в Союзе писателей, «с полной силой, приобретенной, а не потерянной на войне».

Что же это за фронтовые стихи? Чему они были посвящены?

Я могу быть не совсем объективным, но прежде всего мне хотелось бы из всего написанного Гитовичем на войне выделить стихотворение «Строитель дороги». Стихи были созданы на Волховском фронте, и мы, волховчане, узнали в них себя. И не только узнали. Слетев с газетной полосы, стихи тотчас стали чем-то вроде нашего гимна. Строитель дороги был у нас не просто важнейшей фигурой. Все мы, в том числе журналисты, в какой-то мере были строителями дорог. Ведь нам приходилось жить на таких болотах, где шагу нельзя было ступить, не бросив под ноги хотя бы несколько жердей. Жердевые настилы соединяли наши землянки, по жердевым дорогам производились все перемещения подразделений, все перевозки вдоль фронта и на передний край.

Он шел по болоту, не глядя назад,
Он бога не звал на подмогу.
Он просто работал, как русский солдат,
И выстроил эту дорогу.

На запад взгляни и на север взгляни —
Болото, болото, болото.
Кто ночи и дни выкорчевывал пни,
Тот знает, что значит работа.

Пойми, чтобы помнить всегда и везде:
Как надо поверить в победу,
Чтоб месяц работать по пояс в воде,
Не жалуясь даже соседу!

Все вытерпи ради родимой земли,
Все сделай, чтоб вовремя, ровно,
Одно к одному по болоту легли
Настила тяжелые бревна.

…На западе розовый тлеет закат,
Поет одинокая птица.
Стоит у дороги и смотрит солдат
На запад, где солнце садится.

Он курит и смотрит далёко вперед,
Задумавшись точно и строго,
Что только на Запад бойцов поведет
Его фронтовая дорога.

Все, что писал на фронте Гитович, было исполнено непоколебимой веры в нашу победу. Для поэта, как и для главного героя его поэзии, «связались воедино честь Родины и честь его души». Поэтому через все фронтовые стихи, по существу, проходит один герой, независимо от того, к какому роду войск он принадлежал. Мы знакомимся с ним в разных ситуациях фронтовой жизни — в бою, на привале, на марше. С пехотинцем — героем одноименного стихотворения, например, читатель встречается на переправе: «по-хозяйски, не спеша», «он воду крупными глотками из каски пил, как из ковша». Поэт не довольствуется моментальной фотографией. Бытовой эпизод послужил лишь поводом к созданию обобщенного образа нашего воина, вынесшего на своих плечах горечь отступления и познавшего радость первых побед:

Напился, поглядел на запад,
На дым горящих деревень
И снова в бой… И я внезапно
Увидел тот грядущий день,

Который будет всех светлее,
Когда, под грохот батарей,
Мы зачерпнем воды из Шпрее
Солдатской каскою своей.

«Пехотинец» появился в 1944 году. Между ним и «Строителем дороги» пролегла почти вся война, но привязанности автора нисколько не изменились. Поэт пристально всматривается в воинов переднего края. Обязанности фронтового корреспондента позволяли ему бывать в разных частях. И в стихах идет своеобразная перекличка представителей разных родов войск: «Снайпер», «Строитель дороги», «Полковая артиллерия», «Военные корреспонденты», «Пехотинец»… Уже одни названия дают представление об участниках такой переклички. Но это — не стихи о воинских профессиях. Они привлекают внимание глубоким анализом поведения человека на войне, меткостью психологических характеристик. Вот один из галереи героев фронтовых стихов Гитовича — разведчик.

Наверно, так и надо. Ветер, грязь.
Проклятое унылое болото.
Ползи на брюхе к черным бревнам дзота,
От холода и злобы матерясь.

Да про себя. Теперь твоя забота —
Ждать и не кашлять. Слава богу, связь
В порядке. Вот и фриц у пулемета.
Здоровый, дьявол. Ну, благословясь…

На третий день ему несут газету.
Глядишь, уже написано про эту
Историю — и очерк и стишки.

Берет, читает. Ох, душа не рада.
Ох, ну и врут. А впрочем — пустяки.
А впрочем, — что ж, наверно, так и надо.

До войны стихи Гитовича на оборонную тему несли на себе нередко печать рассудочности, страдали некоторой сухостью. Долгие месяцы, проведенные на переднем крае, постоянное общение с главным героем войны — солдатом душевно обогатили поэта, позволили ему освободиться от литературности, найти

настоящие слова, чтобы рассказать о том, как шли мы к победе, и о том, как в нас самих зрели силы для этой победы.

В стихах Гитовича появляются интонации живой разговорной речи, порой даже частушки:

Вот — земля. Немецким ротам
Не дадим топтать ее,
Потому что хоть болото,
А российское — свое.

Или:

А пойдешь на пост, да, не ровен час,
Соскользнул в темноте с мостков —
Значит, снова по пояс в грязи увяз,
Вот у нас тротуар каков.

Встретились два солдата в час короткого привала, разговорились. О чем? Конечно, все о том же — о доме, по которому истосковались. Рады похвастать друг перед другом: один письмом из дому, другой фотографией дочки.

А кругом — земля в огне,
Как ведется на войне.
Далеко дружку в Саратов,
А до Омска — дальше мне.

Только в общем — все равно
Расстояние одно:
Нам считать не версты к дому,
А к победе — суждено.

Интонации нельзя научиться. Ее можно только услышать, живя одной жизнью с солдатами и деля с ними кров и хлеб.

После войны недоброжелатели пытались обвинить Гитовича в том, что он оторвался от читателя, не откликается, мол, на злободневные события. Наиболее крикливыми критиками были те, кто за четыре года войны так и не успели узнать, как пахнет порох. Поэту бывало нелегко, но в самые трудные минуты он вспоминал глаза товарищей, которым читал стихи в окопе, снова ощущал на ладони шершавое рукопожатие сапера, с которым разминировал минное поле, и обретал веру в собственную

правоту.

Было бы неверно думать, что все фронтовые стихи Гитовича — непрерывная цепь удач. Газета отнимала у него и время и силы, порой часа не оставляла для того, чтобы подумать над строкой. Надо ли удивляться, что стихи, рожденные на злобу дня, нередко умирали на газетной полосе, но умирали, подобно бойцам, до конца выполнив свой долг.

Война была не единственной темой поэтов-фронтовиков, как и публицистика — далеко не единственным средством выражения чувств. Война стала временем нового расцвета нашей лирической поэзии, в том числе и любовной лирики. Именно успехами нашей лирики в годы Великой Отечественной войны в значительной степени объясняется тот рост доверия к поэзии, интереса к ней, который до сих пор обеспечивает стихам тысячные аудитории.

Далеко не все стихи, написанные на войне, предназначались для газетной полосы. Вспомним наиболее разительные примеры: «Жди меня» К. Симонова и «Землянку» А. Суркова. Обнародование этих стихов в значительной мере носило случайный характер. Однако совершенно не случайно они получили всеобщее признание: в них аккумулированы мысли и чувства. миллионов. Это же можно сказать о стихах М. Светлова, М. Луконина, М. Дудина, А. Недогонова, шедших за ними следом С. Орлова, М. Карима, К. Кулиева, М. Максимова и многих других. Стихи-признанья, стихи-письма любимой, стихи-беседы между двумя друзьями обретали силу боевого оружия. Как и все, А. Гитович «в ночи, озаренной немецкой ракетой, шагая в лесу по колено в воде», как бы заново переживал и переосмысливал многое из той довоенной и теперь казавшейся такой далекой жизни, иначе оценивал то, что дарила ему война, по-особому всматривался в будущее.

Мы уже знаем, какое место в творчестве Гитовича занял довоенный цикл «Разлука», как умел поэт по-своему сказать о том, что лежит «на сердце твоем и моем». Этот цикл появился не случайно: видно, у каждого поэта наступает пора, когда невозможно восстановить душевное здоровье, без того чтобы не высказаться о самом сокровенном.

Незадолго до начала войны, в апреле 1941 года, Гитович написал стихи «Нет, не тихого берега ужас…». Это было возвращение, но не прямое, а словно бы по спирали, к теме «Разлуки», к теме любви, той, «что в преданьях воспета и почти непонятна теперь». У нового цикла — «Долгая история» подзаголовок: «Вместо писем». Начинаешь читать, и тотчас тебя захватывает обнаженность чувства. На первых порах эта обнаженность даже отпугивает. Вот так бывает, когда мы по

ошибке входим в чужую дверь. Но прочитано одно стихотворение, второе, и ловишь себя на мысли, что ты — не столько читатель, сколько соавтор.

В ту пору много было написано стихов о неверной любви, жестокой ревности, безжалостно клеймилась позором «она» за то, что забыла «его». Философия «Долгой истории» Гитовича была совершенно иной, она шла в русле лучших образцов нашей военной лирики, основы которой заложены лермонтовским «Завещанием». В стихах Гитовича нет идиллических настроений. Его любовная лирика — это никогда не прекращающийся спор совести, напряженной мысли.

Те комнаты, где ты живешь,
То пресловутое жилье —
Не сон, не случай — просто ложь,
И кто-то выдумал ее.

Те комнаты — лишь тень жилья,
Где правдою в бесплотной мгле
Лишь фотография моя
Стоит как вызов на столе.

Как тайный вызов твой — чему?
Покою? Слабости? Судьбе?
А может, попросту — ему?
А может, все-таки — себе?

Ну что ж, к добру иль не к добру,
Но гости мы, а не рабы,
И мы не лгали на пиру
В гостях у жизни и судьбы.

И мы подымем свой стакан
За те жестокие пути,
Где правда — вся в крови от рай,
Но где от правды не уйти!

«Долгая история» — цикл очень грустных стихов об оборванной на полуслове любви:

Не плачь, моя милая. Разве ты раньше не знала,
Что пир наш недолог, что рано приходит похмелье…
Как в дальнем тумане — и город, и дом у канала,
И темное счастье, и храброе наше веселье.

А если тебе и приснились леса, и равнины,
И путник на белой дороге, весь в облаке пыли, —
Забудь, моя милая. Фары проезжей машины
Его — и во сне — лишь на миг для тебя осветили.

В стихах женщина не оскорблена ни малейшим намеком на короткую память. Да и к «третьему», который обычно в подобных стихах подвергался остракизму, сохранено человеческое отношение. Гитович глубже иных своих товарищей по перу понимает драму такой любви:

И в этой тьме ненастоящей
Мне только хуже оттого,
Что третьему еще неслаще,
Что ты обидела его.

Любовь, которую пережил поэт и о которой он решил рассказать, сделала его мудрее. Его любовная лирика философски насыщена: она рассчитана отнюдь не на эмоциональный настрой, а на способность читателя глубоко анализировать, то есть мыслить.

В ту пору, когда создавался этот цикл (особенно зимой 1943 г.), мы часто встречались с Гитовичем. В каждый свой приезд он читал нам новые стихи. Когда цикл в основном был написан, Гитович собирался закончить его стихами «И все-таки что б ни лежало…». Через несколько дней мы встретились снова. Он прочел вот эти двенадцать строк, завершающих в окончательном виде цикл:

Осенний снег летит и тает,
С утра одолевает грусть.
Товарищ целый день читает
Стихи чужие наизусть.

Лежит, накрывшись плащ-палаткой,
Переживая вновь и вновь,
Как в детстве, где-нибудь украдкой
Из книги взятую любовь.

Его душа чужому рада,
Пока свое не подошло…
А мне чужих стихов не надо —

Мне со своими тяжело.

По разным соображениям он не опубликовал несколько тогда написанных стихотворений. С ними читатель смог познакомиться лишь в посмертной книге стихов «Дорога света».

…На переднем крае, откуда, как известно, «до смерти четыре шага», мы не только мечтали о победе, вспоминали довоенную жизнь, говорили о любви. В землянке звучали и веселая шутка, и острый анекдот. Среди газетчиков широко были распространены разного рода веселые розыгрыши. В этом Гитович был неистощим на выдумки.

— Познакомился с Анри Лякостом, — сказал он мне как-то. — Слышал о нем?

Имя и фамилия мне ничего не говорили. Тем не менее я как-то неопределенно покачал головой: мол, может, знаю, а может, нет.

Гитович посмотрел на меня хитро:

— Ну, ничего, дело поправимое. Я начал переводить Лякоста.

Мне не хотелось показывать свою неосведомленность, и я не спросил, кто такой Лякост. Но Гитович сам объяснил, что это — очень интересный французский поэт: до войны был снобом, прожигателем жизни, а теперь сражается в маки.

Конечно, можно было подивиться, каким ветром занесло стихи французского партизана к нам, на волховские болота. Но ведь сражались же в русском небе летчики эскадрильи «Нормандия»!

Короче говоря, никто из нас не задумывался над тем, как попали стихи Анри Лякоста к Гитовичу. Нас больше интересовало, что пишет француз. В один из вечеров Гитович прочел переводы.

Стихи были необычные, будто бы из другого мира, знакомого нам разве что по романам да картинам, висевшим до войны в Эрмитаже.

Да, мы горожане. Мы сдохнем под грохот трамвая,
Но мы еще живы. Налей, старикашка, полней!
Мы пьем и смеемся, недобрые тайны скрывая, —
У каждого — тайна, и надо не думать о ней.

Есть время. Пустеют ночные кино и театры.
Спят воры и нищие. Спят в сумасшедших домах.
И только в квартирах, где сходят с ума психиатры,
Горит еще свет — потому что им страшно впотьмах.

Уж эти-то знают про многие тайны на свете,
Когда до того беззащитен и слаб человек,
Что рушится все — и мужчины рыдают, как дети.
Не бойся, такими ты их не увидишь вовек.

Они — горожане. И если бывает им больно —
Ты днем не заметишь. Попробуй, взгляни, осмотрись:
Ведь это же дети, болельщики матчей футбольных,
Любители гонок, поклонники киноактрис.

Такие мы все — от салона и до живопырки.
Ты с нами, дружок, мы в обиду тебя не дадим.
Бордели и тюрьмы, пивные, и церкви, и цирки —
Все создали мы, чтобы ты не остался один.

Ты с нами — так пей, чтоб наутро башка загудела.
Париж — как планета, летит по орбите вперед.
Когда мы одни — это наше семейное дело.
Других не касается. С нами оно и умрет.

Гитович читал, а я видел не заметенные снегом улицы Ленинграда, не дома, из черных окон которых сталактитами свешивались огромные сосульки, а Париж, такой, каким он изображен на картинах Писсарро и Марке. В строчках жили и бесшабашная удаль, и рисовка, и тревожные предчувствия человека, сбившегося с пути, готового, «в грозе и ливне утопая», схватиться за соломинку, да нет ее, этой соломинки.

После того как Лякост вступил в Сопротивление, в стихах обозначился резкий перелом. В них появились строки, созвучные нашему солдатскому настроению:

Но уж плывут, качаясь, корабли,
Плывут на север, к Славе и Надежде.
Что бой? Что смерть? Хоть на куски нас режьте,
Но мы дойдем — в крови, в грязи, в пыли.

Мы были готовы подружиться с Лякостом, когда в стихах, посвященных летчикам эскадрильи «Нормандия», он признавал: «Вы были правы. Свет идет с Востока».

Когда чтение кончилось, Гитович, снисходительно выслушав нашу похвалу, словно бы между прочим заметил:

— Уговаривают послать в один из толстых журналов.

Но он так и не послал никуда эти стихи. В «Знамя» их отвез

кто-то из друзей поэта. Редакция попросила автора переводов написать что-то вроде предуведомления к читателю. И вот тогда-то Гитович признался, что никакого Анри Лякоста не существует. К тому времени работавший по соседству с нами Ан. Тарасенков перебрался из Новой Ладоги в Москву, в журнал «Знамя». Узнав о мистификации, он написал Гитовичу:

> «Дорогой товарищ Гитович!
>
> Только из сегодняшнего разговора с Зониным я узнал, что Анри Лякост лицо абсолютно вымышленное. Ну-ну! А ведь мы посылали стихи в интернациональную комиссию ССП, чтобы выяснить судьбу и политическое лицо автора на сегодняшний день. Нам сказали, естественно, что никаких данных об этом поэте нет. А стихи, между прочим, хорошие, их хочется напечатать. Но вместо псевдонаучного предисловия Вы уж лучше напишите маленькую вступительную новеллу, дайте понять, что Лякост — выдуманный Вами герой, от лица которого Вы и ведете поэтическую речь. Помните, так один раз сделал Кирсанов? Жду от Вас ответа, а если Вы согласны, то и это новое предисловие. Тогда стихи зазвучат совсем иначе».

История нас немало позабавила. Но намерения журнала были, как видим, самые серьезные. Гитович не сразу откликнулся на просьбу Тарасенкова. Только после войны он решил опубликовать эти стихи.

В архиве поэта сохранился черновик его письма к И. Эренбургу.

> «Дорогой Илья Григорьевич!
>
> Примерно в декабре 1943 года, когда я лежал в госпитале, мне пришло в голову: а что, если бы Люсьен из „Падения Парижа“ остался жив, Люсьен, для которого „мир хорошел, люди становились милыми“, который стал думать о товарище: „хороший человек“?
>
> В госпитале было время для размышлений, и я выдумал тогда французского поэта Анри Лякоста (соединив имя одного знаменитого теннисиста с фамилией другого), я выдумал его биографию, выдумал его первую книгу „Горожане“, а затем его стихи — солдата армии Сопротивления (грешным делом, я включил в его второй цикл ранее написанное мной стихотворение „Европа“).
>
> Самое забавное, а может быть, и самое прекрасное,

заключается в том, что все мне поверили — от солдата до весьма известных литературоведов…

Сейчас как будто собираются печатать некоторые стихи Лякоста, разумеется вторую часть.

Посылая Вам все это, я прошу о следующем: если стихи понравятся Вам, не разрешите ли Вы мне посвятить их Илье Григорьевичу Эренбургу, без которого этих стихов не могло быть на свете, и тем самым выразить ему свое глубокое уважение и сердечную признательность?»

К сожалению, и в тот раз стихи напечатаны не были.

«Асторийская декларация»

В письменном столе Гитовича после смерти были найдены документы: «Асторийская декларация четырех ленинградских поэтов» и приложение к ней. Они прошли вместе с ним длинный путь от стен Ленинграда до Балтийского моря, а затем через всю страну к Тихому океану и обратно. В обоих, как мне кажется, спрессованы и отголоски кипевших до войны в Доме писателя имени Маяковского страстей, и глубокая вера единомышленников в правоту избранной ими линии, и просто стремление позабавиться.

Нашим поэтическим кумиром был прежде всего Маяковский. Мы любили стихи Светлова и Тихонова, Уткина и Саянова, Луговского и Багрицкого. Но это не мешало нам дарить симпатии своим ровесникам, тогда еще совсем молодым ленинградским поэтам. Их стихи мы знали наизусть задолго до того, как они появлялись на страницах газет и журналов. Авторы их тогда еще не были членами Союза писателей, не всегда получали возможность выступить с высокой трибуны, но в наших общежитиях, на студенческих вечерах находили самых внимательных и отзывчивых слушателей.

Пути молодых поэтов в конце концов приводили их на улицу Воинова, в Дом писателя имени Маяковского. Многие из них группировались вокруг Гитовича. По его инициативе было создано одно из наиболее крупных довоенных литературных объединений Ленинграда.

Называли его по-разному: кто Центральной поэтической группой, кто Ленинградским объединением молодых. Были, кажется, и другие названия. Однако суть не в названии. Важно отметить, что, едва появившись на свет, объединение привлекло к себе всеобщее внимание. В него входили бесспорно одаренные люди, и уже одно это многое объясняет. Но было и другое немаловажное обстоятельство. Тревогу иных критиков вызывало чрезмерное, по их мнению, пристрастие молодых поэтов к русской классике, отсутствие в их работе прямого использования методов Маяковского. Молодые обвинялись в традиционализме. Куда еще ни шло учиться у Пушкина. Так нет же, они вытаскивают на свет божий «занафталиненного» Фета, «старомодного» Баратынского, «аполитичного» Тютчева! Подобные обвинения сыпались на объединение как из рога изобилия. Но молодые проявляли завидную выдержку.

Кто же входил в это объединение?

Самым «старым» по возрасту и опыту литературной работы

был Михаил Троицкий. Дружба его с Гитовичем относится еще к временам «Смены». Троицкий «придумал» обложку первой книги стихов своего товарища «Мы входим в Пишпек», искусно вырезав ее из бумаги. Троицкий, как и Гитович, гордился тем, что может взять винтовку и действовать ею «как надо». Гитович очень любил стихотворение Троицкого «Музей муравьев», а на фронте он часто читал нам его «Стерегущего», не скрывая своей зависти к автору, так ярко написавшему «святые строки» о «великом равенстве в бою».

По сравнению с Троицким Вадим Шефнер был юн, застенчив и тих, он еще целиком был в плену книжной поэзии, но даже в его первых стихах бросалось в глаза умение поэта не только видеть мир, но и глубоко задумываться над тем, что останавливало его внимание.

Анатолий Чивилихин тоже осваивал традиционный стих. Он стремился

> …с людьми, что слышат гомон птичий,
> Что огнем владеют и водой,
> Поделиться верною добычей:
> Солью, счастьем, песнями, рудой.

Интересно начинали и другие члены объединения.

На мраморной доске в Ленинградском доме писателя имени Маяковского высечены имена литераторов, погибших на полях Великой Отечественной войны. Половину этого горестного и почетнейшего списка занимают члены литературного объединения молодых.

Друзья Гитовича отчетливо понимали, что их литературная жизнь начинается в период военного предгрозья. Естественно, что молодые поэты хотели определить свое место в общем строю. Чаще всего это был солдатский строй. Впрочем, иначе и быть не могло: ведь наставником молодых был автор «Андрея Коробицына» и «Артполка». Гитович не только проводил с ними занятия. Он был редактором их первых книг, радовался каждой их удаче, как своей собственной. Павел Шубин рассказывал мне, как Гитович безжалостно браковал его стихи, предназначенные для «Литературного современника», заставлял переделывать строфы, строки, выверять, как подогнано в цикле одно стихотворение к другому. Много лет спустя мы прочтем в записной книжке Гитовича: «Весь смысл быть учителем заключается в том, чтобы ученик стал выше тебя; иначе вообще прогресс исключен».

Объединение было любимым детищем Гитовича. Нельзя было

не удивиться, сколь самозабвенно и безотказно отдавал он себя воспитанию молодых друзей. В самом деле, поэт, только что порадовавший всех несколькими отличными книжками стихов, добровольно отложил в сторону перо, чтобы целиком сосредоточиться на работе других. Он делал это по велению души, заботясь о будущем дорогой его сердцу советской поэзии. Его внимание к объединению было подогрето и тем обстоятельством, что молодые очутились под перекрестным обстрелом разного рода недоброжелателей, людей, которые в силу своей ограниченности не могли заглянуть в завтрашний день. Воздух дискуссии, спора был всегда самым желанном для Гитовича.

Он ставил в центре всех практических и теоретических дел объединения — вопросы учебы, учебы, разумеется, у классиков, и прежде всего у Пушкина, которого он боготворил. «Пушкин — красный угол нашей литературы», — любил повторять Гитович.

Гитович обладал безупречным вкусом, или тем, что на языке музыкантов называют абсолютным слухом. Он умел улавливать в строчках не только фальшь, но и малейший отблеск искры божьей, чтобы тут же помочь автору раздуть ее если не в пламя, то хотя бы в огонек.

Своих учеников он учил широкому взгляду на литературу умению правильно оценивать ее явления, без предубеждений, независимо от вкусов, привязанностей и т. д.

Известный ленинградский литературовед Б. И. Бурсов, который часто общался с Гитовичем на фронте, рассказывал мне, что он случайно узнал, будто Александр Ильич не читал «Тихий Дон» Шолохова. Однажды после какого-то застолья Гитович взял в руки книгу.

— Я думал, что он тотчас заснет, — продолжал Бурсов. — Но каково было мое удивление, когда утром следующего дня Александр Ильич почти дословно стал рассказывать мне прочитанное. Потом, когда была перевернута последняя страница, он сказал: «Все превосходно, но последняя часть романа стоит в первом ряду мировой классики».

«Объединение было по сути дела мастерской, где поэты, встречаясь, обсуждали стихи друг друга, придираясь к каждой строке», — говорил Гитович в одном из своих публичных выступлений. Занятия в нем отнюдь не напоминали занятий в классе. Их лучше сравнить с диспутом. А. Л. Ахматова, бывавшая на этих занятиях, рассказывала мне, что споры молодых поэтов были не только темпераментны, но и обнаруживали солидную подготовку спорщиков, глубокое знание отечественной литературы. Кроме А. А. Ахматовой на занятия объединения

приходили другие видные ленинградские литераторы: Н. Заболоцкий, Ю. Тынянов, М. Зощенко… Да и в Москве у молодых оказалось немало друзей и благожелателей.

В архиве Гитовича сохранилось письмо Ильи Эренбурга.

> «Дорогой товарищ Гитович, спасибо за письмо. Я помню споры вокруг ЛО. Прекрасные помню стихи Ваши, Шефнера и еще одного поэта, если угодно, архаика (забыл его фамилию, а стихи помню). Судьба поэтов и „критиков“ закономерна. Дополню: об одном писателе говорили, что он „оторвался“, „чужой“, „гнилой парижанин“ и т. д. Нужно ли указывать, где хулители?.. Поздравляю с медалью[1]: такие слова прекрасны на сердце поэта.
>
> Желаю Вам от души удачи и крепко жму руку
> Ваш Илья Эренбург»

Объединение молодых отнимало у Гитовича не только время, но и духовные силы, но он не жалел об этом, понимая, как важна для развития литературы новая смена.

В седьмом номере журнала «Литературный современник» за 1940 год он опубликовал «Главу, не вошедшую в поэму» («Город в горах»). В ней нет прямого указания на объединение, но строки, которые будут процитированы ниже, навеяны общением с молодыми друзьями:

> А лучше — мне подумалось —
> Движенье
> Той молодежи, рвущейся вперед,
> Что не продаст республику в сраженье,
> Не хнычет в жизни
> И в стихах не врет.
> Мир хорошо, по-моему, устроен.
> Я — за него.
> И я веду к тому,
> Что вот уже — не двое и не трое
> Теперь любезны сердцу моему.

Поэт радовался не только и даже не столько увеличению численного состава объединения. Быстро шел творческий рост молодых литераторов. Этому в немалой степени способствовало то, что у объединения была своя «посадочная площадка». Ею стал журнал «Литературный современник» (Гитович был членом редколлегии).

Журнал охотно предоставлял молодым свои страницы. В 1938, 1939, 1940 годах, пожалуй, не найти ни одного номера, в котором не были бы напечатаны стихи членов объединения. Журнал не только печатал молодых стихотворцев. Он рецензировал их первые книжки, критиковал, предостерегал от ошибок. Правда, нередко критика шла по касательной: подмечались отдельные погрешности в стихе, но менее всего говорилось о главной опасности, угрожавшей некоторым молодым стихотворцам, — рассудочности, готовности удовлетвориться книжными знаниями.

Впрочем, случалось, что и самые дружеские критические замечания иные из молодых переживали болезненно. Обиженные пытались найти сочувствие у товарищей, защиту у Гитовича. Но тщетно. Дружба членов объединения не низводилась до взаимного амнистирования. Короче говоря, молодые поэты получали хорошую закалку.

> «В результате трехлетней общей работы, — отмечал Гитович, — поэтам, входящим в объединение, несмотря на все различие их поэтических индивидуальностей (ибо, конечно, Чивилихин столь же мало похож на Лифшица, как Шефнер на Лебедева и т. д.), стало ясно, что очень многое их объединяет.
>
> Но это объединяет их и со „Стихами о Кахетии“ Тихонова, и с многими стихами Прокофьева и Саянова, и т. д. — то есть со всем тем, что кажется нам передовым и прогрессивным в советской поэзии».

Отстаивая творческие принципы, которых придерживались члены объединения, Гитович доказывал, что настоящий читатель стихов должен столь же болезненно ощущать неряшливость или небрежность поэта, как любящий музыку человек ощущает фальшивую ногу. Он говорил также о том, что никакие комбинации из весьма ограниченного количества слов, таких, как «знамена», «слава», «звезды» и пр., не могут удовлетворить читателя, вызвать в нем иные чувства, кроме раздражения, если налицо измена поэзии, ее законам, ее художественным средствам. Вот почему ряд молодых ленинградских поэтов, а вслед за ними и москвичей поставили своей целью «избежать всего того сумбура и невнятицы, которыми совсем еще недавно отличались стихи многих, даже наиболее известных наших поэтов».

Эти мысли Гитович высказал на ленинградской дискуссии о поэзии, состоявшейся в начале 1940 года. Тогда некоторые ораторы пытались обвинить поэтов объединения в групповщине. Отвечая им, Гитович сказал:

«Это показалось мне непониманием (у людей, бесконечно испорченных литературными нравами) того, что кроме групповщины может ведь существовать у поэтов и простая человеческая дружба. Вот что писал когда-то тот же Чехов:

Объединение молодых писателей не может произойти только от того, что фамилии их будут напечатаны в одном оглавлении… Для объединения нужно кое-что другое: нужны если не любовь, то хоть уважение друг к другу, взаимное доверие и абсолютная честность в отношениях, т. е. нужно, чтобы я, умирая, был уверен в том, что после моей смерти г. Бибиков не будет печатать во „Всемирной иллюстрации“ нелепых воспоминаний обо мне, что товарищи не позволят г. Леману читать на моей могиле речь от имени молодых писателей, к которым г. Леман принадлежать не имеет права, ибо он не писатель, а только прекрасный игрок на биллиарде, что при жизни я не буду завистничать, ненавистничать и сплетничать; и быть уверенным, что товарищи будут платить мне тем же… (А. П. Чехов, 1888 г.).

Я не хочу говорить лестных слов таким поэтам, как А. Чивилихин, В. Лифшиц, В. Шефнер, А. Лебедев, Е. Рывина, П. Шубин, Б. Шмидт, И. Федоров, Э. Горлин и др., большинство из которых являются моими личными друзьями, хотя я и старше многих из них, вероятно, лет на пять.

Но я свидетельствую о том, что на собраниях объединения они критикуют друг друга с резкостью, часто поражающей меня.

И если, несмотря на это, они сумели остаться друзьями, то это потому, что ни у кого из них нет основания не уважать работы другого».

В архиве Гитовича сохранилось письмо П. Шубина от 12 мая 1940 года. К тому времени Шубин жил уже в Москве, но продолжал считать себя ленинградцем и не порывал с друзьями по объединению. Он писал:

«…Еще раз утверждаю, убедившись в Москве, что честная наша ленинградская выучка, строгость и четкость стиха, осмысленность и чистота — все это придет к настоящему признанию…»

Шубин стоял несколько особняком в объединении. Не все, что там делалось, нравилось ему, не всегда он готов был соглашаться с Гитовичем. На фронте мне довелось быть свидетелем многих их бесед. Они продолжали спорить, но не было сомнений, что в главном — во взглядах на поэзию — они оставались единомышленниками.

Некоторое время Гитович и Шубин работали в газете 54-й армии «В решающий бой». Именно тогда Шубин написал свою знаменитую «Волховскую застольную».

Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявино,
Наши штыки подо Мгой.

Шубин ценил Гитовича как поэта и руководителя литературного объединения, но несколько иронически относился к его идее собрать во время войны «пленум друзей».

— Александр Ильич, — говорил Шубин, — как квочка, все норовит разгребать для нас просо. А мы стали сами с усами. Ему же трудно поверить в это.

— Если бы я услышал такое от… (называлась фамилия одного литератора), я не удивился бы, — отвечал Гитович. — Но так докатиться Шубину!..

В тот вечер спор не закончился примирением. Однако утром на полевой сумке Гитович обнаружил записку:

«В БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
от П. Н. Шубина
Заявление

Т. к. я всю свою сознательную творческую жизнь связываю с ЦП Г Ленинграда, в организации которой я принимал участие непосредственно, прошу и впредь, во время войны и после, рассматривать меня как члена этой высокой организации и все мое творчество считать подотчетным данной организации.

Павел Шубин
21/VII-43 г.»

«Пленум друзей» все же частично состоялся, и вот свидетельства.

«АСТОРИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕТЫРЕХ ЛЕНИНГРАДСКИХ ПОЭТОВ

Мы, ленинградские поэты, входившие в состав объединения молодых поэтов, а именно: Александр Гитович (прибыл с позиций Волховского фронта), Владимир Лифшиц (прибыл с позиций Ленинградского фронта), Анатолий Чивилихин (прибыл с позиций Волховского фронта) и Вадим Шефнер (прибыл с позиций Ленинградского фронта), встретясь в осажденном Ленинграде в гостинице „Астория“ (№ 124 — неотапливаемый) 13 декабря 1943 года и обменявшись мнениями, установили, что:

1. Принципы нашей творческой работы, объединявшие нас до войны, объединяют нас и теперь и выдержали проверку военного времени.

2. Члены содружества поэтов, все до одного, в чем мы не сомневались и раньше, оказались активными участниками героической борьбы советского народа с немецким фашизмом. Наша повседневная работа на фронте и кровь, пролитая нашими товарищами, — свидетельство этому.

3. Наша дружба, подвергавшаяся гонениям в предвоенные годы, оказалась одной из тех сил, которые помогли нам в труднейших условиях войны и блокады служить своему Отечеству.

4. Наши творческие принципы продолжают быть простыми и ясными: писать правду („Не лги самому себе, и ты не будешь лгать другим“). В 1940 году Юрий Николаевич Тынянов сказал нам: „Я знаю, за что вы боретесь: вы боретесь за то, чтобы вернуть поэзии утраченную цену слова“. Мы отнюдь не желаем, чтобы на поэзию наших лет распространилась оценка: „…многое исчезло: совесть, чувство, такт, мера, ум, растет словесный блуд“.

5. Пользуясь милостью судьбы, которая свела нас в третий год войны здесь, в 124 неотапливаемом номере „Астории“, мы подтверждаем крепость нашей дружбы и нашу решимость бороться за правдивое и высокое советское искусство.

А. Гитович, В. Лифшиц, А. Чивилихин, В. Шефнер».

В качестве приложения к этой декларации, в полном соответствии с пародируемыми дипломатическими протоколами, были присоединены

«ЧАСТНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОДНОВРЕМЕННО С АСТОРИЙСКОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ

1. День исторической встречи оставшиеся в живых после войны должны отмечать ежегодно 13 декабря в гостинице „Астория“, в парадной форме при орденах и медалях. За дружеским столом оставлять нетронутыми налитые бокалы в память павших товарищей.

2. Каждый член нашего содружества поручает в случае его гибели издание своих произведений живым членам содружества.

3. Содружество поэтов берет на себя подготовку посмертных изданий произведений Глеба Чайкина, Ивана Федорова, Алексея Лебедева, Михаила Троицкого.

4. Содружество поэтов после войны будет раз в год издавать свой альманах.

5. День памяти погибших товарищей устанавливается 1 ноября ежегодно».

На войне еще больше окрепла простая человеческая дружба между поэтами уже давно не существовавшего объединения. Гитовичу, Шефнеру и Лифшицу повезло: им удалось раз или два встретиться. Остальные могли пожать руки друг другу с помощью полевой почты или, в лучшем случае, на газетной полосе. Жаль, что мало сохранилось писем, которыми обменивались тогда друзья. Аккуратнее других был в переписке Чивилихин. Нередко его письма были в стихах. Вот с некоторыми сокращениями одно из них. Оно адресовано Гитовичу и помечено 1 сентября 1944 года.

Дорогой и несравненный!
Шлю привет Вам и поклон.
Где Вас носит вихрь военный
И легко ли носит он?

…Я вчера глядел на карту,
Поглядев, предположил:
Может, Вы входили в Тарту,
Где Языков милый жил,
Где читал, тоску изгнанья
Понимая и деля,
Александровы посланья,
Как король от короля?
Может, в клубах дыма, пыли,
С чуть поникшей головой
Вы в Тригорское входили
Вслед за ротой штурмовой?
…О себе скажу не много.

День мой — чем он знаменит?!
Завела меня дорога
На холодных скал гранит.
Не в чести и не в опале.
(Вспомнил, может быть, к добру:
Мы в одной тарелке спали
С Вами как-то на пиру)
……
В мир гляжу спокойным взглядом
В ясный день и в ночи мрак.
Мы с Вадимом чуть не рядом,
А не свидимся никак.
Весть о нем одну имею:
У него, — сказали мне, —
Гимнастерка тяжелее
Стала в правой стороне.
Что еще о жизни нашей
Мне поведать в этот час?
Может быть, назвать Вас Сашей,
«Ты» сказать Вам в первый раз?
Скоро будем бородаты
И солидны и умны,
Вспомним: были мы когда-то
Молодыми — до войны!
Скоро юность, как подруга
Давних дней, приснится нам:
Будет поздно нам друг друга
Называть по именам!

…Что еще? Хоть мы далече
И судьба не гладит нас,
Я пишу: до скорой встречи!
Да приидет встречи час!
Труден срок, хоть и недолог.
Пусть же в дни вражды земной
Мимо Вас летит осколок,
Пуля мчится стороной!
Ни скорбен, ни мук, ни болей
Пусть судьба Вам не сулит!
Ваш как прежде Анатолий
(Каково? Силен пиит?!).

Час встречи все-таки пришел. Не все вернулись в родной

город, иные остались на дорогах войны, в братских могилах. А те, кто уцелел, не были похожи на себя, довоенных. С войны возвратились солдаты, обожженные всеми ветрами, принесшие в вещевых мешках не только книги новых стихов, но и заповеди человеческих отношений, проверенные на поле боя. Об этом удивительно точно сказал Анатолий Чивилихин:

Мы любим труд и жизнь. Пристрастьям нет числа.
Под небом родины, прекрасна и светла,
Завидная нашлась любому доля
Нас на пиру земном судьба не обнесла.
Она бы обнесла, да не хозяйка боле.
Здесь мы хозяева, мы, люди ремесла.

Вчерашние солдаты, узнавшие почем фунт лиха, изведавшие радость победы, хотели жить лучше, чем жили до войны, писать о жизни ярче, суровей и честней.

И действительно, одна за другой к читателю шли книги поэтов-фронтовиков. Это было время удивительного взлета нашей поэзии, умножения ее рядов за счет вчерашних танкистов и летчиков, партизан и пехотинцев.

А. Чивилихин и А. Гитович. Волховский фронт, 1942

«Пиры в Армении»

Вместо двери в узкой щели, ведущей в землянку, висела обыкновенная плащ-палатка. С внешней стороны к ней был приклеен листок бумаги с надписью: «Корреспондентский пункт газеты „На страже Родины“».

Если войти в землянку и посидеть в ней минуту-другую, пока глаза не привыкнут к полутьме, на внутренней стороне двери можно заметить рисунок. Что-то очень знакомое, не раз виденное на фотографиях, ярлычках, картинах. Ну конечно же, гора Арарат!

Хозяином землянки был ленинградский критик Сократ Кара. Как и многие его друзья, в дни войны он стал военным корреспондентом и на Волховском фронте представлял газету ленинградских воинов.

Землянка, отведенная ему, была маленькой, плохо обжитой. Но кто в то время обращал внимание на удобства! Была бы крыша над головой, а если для нашего брата газетчика находилось и что-нибудь вроде стола, где можно положить блокнот да чистый лист бумаги, то ничего нам; пожалуй, и не надо было.

По соседству с Карой в таких же землянках поселились корреспонденты «Правды», «Известий», ТАСС. Так на околице деревушки Пустая Вишерка появилась небольшая колония журналистов.

Неподалеку от нее располагался фронтовой резерв командного состава. Сюда после госпиталя прибыл за назначением Александр Гитович.

В ожидании должности он дневал и ночевал в гостях у журналистов, а потом и вовсе переселился сюда, приняв предложение Кары разделить с ним кров и досуг.

Рисунок на двери появился после переселения Гитовича. Пустая Вишерка затерялась среди бесконечных волховских болот, и, наверное, поэтому Кара особенно часто вспоминал свои родные края и охотно рассказывал о них, в частности об Арарате.

Гитович, хотя и был страстным путешественником, не смог до войны побывать в Армении. И теперь в долгие зимние ночи рассказы Кары, чтение им вслух отрывков из «Давида Сасунского», стихов армянских классиков стали чем-то вроде путешествий по далекой республике. Армянский эпос, стихи мудрых поэтов, десятки то забавных, то грустных, то озорных историй, которых Кара знал великое множество, позволили Гитовичу получить представление об армянском народе, его культуре, традициях и обычаях. Он завел специальную тетрадь, в

которую записывал отдельные строчки, присказки, байки, просто слова, чтобы сказать другу утром по-армянски «здравствуй», а вечером пожелать «доброй ночи».

Гитович обладал завидным уменьем понимать душу другого народа. Патриотизм и интернационализм были в нем всегда слитны. Это можно было заметить и в стихах о Киргизии, и в цикле стихов Анри Лякоста. Поэтому обращение его к Армении, при всей случайности непосредственного повода, не было чем-то из ряда вон выходящим.

Мать писала Каре: закопала в землю кувшин с вином. Он будет ждать возвращения сына с победой. Древний армянский обычай понравился Гитовичу. Он стал мечтать вслух сперва о том, чтобы испить из этого кувшина. Но потом появилась идея о гигантском застолье у подножья Арарата, всемирном пире поэтов, никогда не утрачивавших веры в торжество правды, в победу светлого и доброго над злом.

Да будет так, как я того хочу:
И друг ударит друга по плечу,
И свет звезды пронзит стекло стакана,

И старый Грин сойдет на братский пир
И скажет нам, что изменился мир,
Что Зангезур получше Зурбагана.

Стихи об Армении — вначале полушуточные («Зима — она похожа на войну») — затем все больше приобретают характер серьезного разговора с читателем о самом главном — об отношении к жизни, о месте и долге поэта. Думая о будущем, поэт осмысляет прожитое:

Не крупные ошибки я кляну,
А мелкий день, что зря на свете прожит.

В первом цикле «Пиров» Армения — лишь экран, на который проецируются мысли о жизни и работе после войны. Он убежден, что после всего пережитого нужно жить иначе, чище, сердечнее, ведь «в блиндажах сырых мы породнились — брат стоит за брата». Пусть еще старый мир, «слепой и безобразный», бьется «в ярости напрасной», но поэту снится «пир поэтов»:

…Вся в кострах,
Вся в звездах, ночь забыла про невзгоды,

Как будто лагерь Братства и Свободы
Поэзия раскинула в горах.

И, отвергая боль, вражду и страх,
Своих певцов собрали здесь народы,
Чтобы сложить перед лицом Природы
Единый гимн на братских языках…

Эти стихи были написаны в феврале 1944 года, когда от Черного моря до Белого ворочала свои жернова война. С особой силой прозвучала в этом цикле очень органичная для Гитовича тема высокой ответственности поэта, ответственности за все происходящее в мире:

Не для того я побывал в аду,
Над ремеслом спины не разгибая,
Чтобы стихи вела на поводу
Обозная гармошка краснобая.

Нет, я опять на штурм их поведу,
И пусть судьба нам выпадет любая, —
Не буду у позорного столба я
Стоять как лжец у века на виду.

Всю жизнь мы воевали за мечту,
И бой еще не кончен. Я сочту
Убожеством не верить в призрак милый.

Он должен жизнью стать. Не трусь, не лги —
И ты увидишь, как течет Занги
И день встает над вражеской могилой.

«В стихах Гитовича военных лет Армения — романтическая страна, страна поэтических мечтаний, — пишет Левон Мкртчян в своем предисловии к книге „Пиры в Армении“, изданной в Ереване. — Когда я сказал Александру Ильичу, как понимаю эти его стихи об Армении, он ответил: „Это вы правильно заметили. У каждого поэта должен быть свой Зурбаган, своя Армения“».

Поэт всегда свободно владел формой. Самую трудную техническую задачу он выполнял легко, может быть именно

поэтому от его стихов подчас тянуло холодком. Читая же «Пиры в Армении», мы не замечаем, что перед нами такая архаичная форма как сонет — столь захватывает волнующая живая мысль.

В Пустой Вишерке Гитовичу удалось написать шесть стихотворений задуманного большого цикла. Началось наше знаменитое зимнее наступление 1944 года. Войска Ленинградского и Волховского фронтов погнали фашистов от Ленинграда. Вновь забросил за спину вещевой мешок армейский поэт Гитович. Фронтовые дороги уводили его все дальше и дальше от Ленинграда. Обязанности военного корреспондента вновь требовали от него всех сил, и в походной тетради почти не появлялось новых лирических стихов.

Два десятилетия «Пиры» ждали возвращения тамады. Он как будто бы не спешил вернуться к ним.

В 1964 году Гитович наконец начинает работать над вторым циклом «Пиров». Отошли в прошлое тяжелые послевоенные годы, оставившие рубцы на душе. Все чаще и чаще он мысленно, будто в заповедную рощу, уходит в свою Армению, много читает о ней, продолжает знакомиться с армянской поэзией, живописью и архитектурой.

В первом цикле «Пиров» Армения почти была лишена реальных географических примет. Теперь же республика обретает в стихах плоть и кровь. Поэт узнал о ней столько нового, что это само по себе вдохновило его на стихи, посвященные действительной Армении.

Как и первому циклу, продолжению «Пиров» предпослан эпиграф, на этот раз несущий предельно точную «служебную» нагрузку: «Поэзия и поэты с древнейших времен высоко почитались в Армении. Враги поэтов были врагами армян». Гитович горячо и сердечно пишет о людях творческого вдохновенья, о тех, кто заставляет говорить холодный мрамор, краски на полотне — петь. И конечно, первое слово посвящено замечательному художнику Сарьяну. Обращает на себя внимание политическая заостренность этих стихов:

Трудился мастер, рук не опуская,
Не требуя от ближних ничего,
Чтобы собрала эта мастерская
Весь свет, все краски родины его.

Настанет день — и повлекутся к ней
Те, что бредут за гранью океана, —
И Сароян вернется в дом Сарьяна,
Как блудный сын Армении своей.

Для Гитовича Сарьян дважды велик: и тем, что его полотна впитали «весь свет, все краски родины его» (потому дом Сарьяна олицетворяет всю республику), и тем, что живописец работает, «не требуя от ближних ничего». Это — наивысшая оценка, которой Гитович может удостоить товарища по труду.

У Сарьяна в «Пирах» — много соседей: Хачатур Абовян, Чаренц, Ованес Шираз…

Армения стала для поэта чем-то вроде земли обетованной.

Нам ни к чему преуменьшать удачи,
Столь редко посещающие нас, —
В Армении мы стали побогаче
И кое-что скопили про запас.

На склоне лет мы сможем вспомнить пир
Во всем его языческом размахе —
Свободу, а не ханжеский трактир,
Где втихомолку пьянствуют монахи.

Этими строками заканчивался цикл «Пиров», написанный в 1964 году.

В новом цикле стихов Армения, сохранив романтический ореол, стала населенной людьми, приобрела приблизительные границы, стала узнаваемой. Читая первый и второй циклы, вряд ли кто-нибудь мог подумать, что автор не бывал в Армении.

— Легко сказать «поезжай», — не без иронии ответил Гитович на мое недоумение по поводу того, что он до сих пор не съездил на берега Занги и Севана.

Лишь в 1964 году мечта поэта осуществилась. За день до отъезда, когда билеты были уже в кармане, Гитович пришел ко мне возбужденный, радостный. В Ленинграде уже стояла поздняя осень. Вдоль тротуаров ветер гнал мокрый желтый лист. В Фонтанке, сжатой гранитными берегами, плескались волны.

Поздняя осень, увы, и в Армении — не лучшая пора для туристов. В некоторые горные районы, в частности на Севан, проехать уже было рискованно. Но, тем не менее, армянские друзья, и прежде всего семья и друзья литературоведа Мкртчяна, сделали все от них зависящее, чтобы Гитович больше увидел, чтобы его заочная досель любовь к Армении материализовалась и еще больше окрепла.

«Студенты университета, — вспоминает Мкртчян, — очень просили Ал. Гитовича прийти на встречу с ними, почитать им

свои стихи. — Я хочу посмотреть Армению, хочу в деревню. А студенты везде одинаковы, — отвечал Александр Ильич».

В одну из деревушек он приехал, когда женщины приготовляли на зиму лаваш. Удивительный ритм этой доброй работы захватил поэта. А когда одна из хозяек угостила его свежевыпеченной, еще пахнувшей огнем и полем лепешкой, он почувствовал себя не гостем, а земляком простых и радушных людей.

Вино и хлеб, рожденные из камня, —
Гостеприимство трудовой души, —
Вся эта жизнь ясна и дорога мне,
И люди здесь добры и хороши.

Он восхищался вершинами и ущельями, вслушивался, как реки перемывают камни. Но главное для него, что «люди здесь добры и хороши». Недаром он убежден, что в Армении все «будет так, как Ленин завещал».

Видимо, еще в Армении он стал набрасывать стихи будущего третьего цикла «Пиров». В отличие от первых двух третий цикл больше всего по своему характеру напоминает путевой дневник. «Деревенский праздник», «Валуны», «Ереванский пейзаж», «Облака над Севаном», «В горном монастыре» — вот взятые почти без выбора названия стихотворений цикла. Поэт щедро делится впечатлениями, накопленными во время поездки. Их оказалось так много, что даже в Ленинграде они не оставляют его. Недаром он писал:

Так будет до самого марта:
Я сплю среди зимних ночей —
А горы Гарни и Гегарта
Стоят у постели моей.

Он не успел написать и опубликовать и малой доли того, что хотел. Помешала болезнь. Но в посмертной книге «Дорога света» появился все-таки новый большой цикл «Пиров», еще, по-видимому, не выстроенный так, как это умел делать Гитович, Чувствуешь, что вот после этого стихотворения должно было, видимо, идти другое, к сожалению ненаписанное или оставшееся в «заготовках». Тем не менее и этот цикл производит сильное впечатление.

Двумя годами раньше Гитович писал о деятелях культуры Армении, которых он знал только по их книгам и картинам. На

этот раз он познакомился с ними лично.

Еще до поездки он написал полушутливые стихи «Воображаемое свидание с Ованесом Ширазом». В Ереване он познакомился с этим замечательным поэтом и тотчас приобрел в его лице друга. Он хорошо знал живопись Сарьяна, а в Ереване встретился еще с одним великолепным живописцем Арутюном Галенцем. Они понравились друг другу, и Галенц написал портрет Гитовича. Портрет удался. Видимо, художник сумел уловить что-то очень важное, определяющее в характере поэта. Гитовичу нравился портрет, и он дважды обращался к нему в стихах. Он писал:

Отчетливо-твердо
Представилось мне:
Такому бы черту
На добром коне
Лететь в бездорожье
Навстречу врагу.

А проседь похожа
На бурку в пургу.

В 1967 году за лучшие работы Галенцу посмертно была присуждена республиканская премия. В числе картин, отмеченных высокой наградой, был и портрет А. Гитовича.

— Моя поездка в Армению была бы оправдана, если бы я увидел здесь только работы Галенца, — говорил Л. Мкртчяну Александр Ильич. На фотокарточке, подаренной Гитовичем художнику, — надпись: «Великому и внезапному другу — Галенцу. 6.XI.65 г. Ереван».

Трудно переоценить значение этой поездки поэта в Армению. После почти двадцатилетнего перерыва, то есть по существу впервые за послевоенные годы, он снова пристально всматривался в жизнь простых людей, близко и непринужденно общался с ними. Он преклонялся перед искусством армян-архитекторов, армян-художников и поэтов. В горах он познакомился с теми, кто воспитал всех этих мастеров, вооружил их мудростью. Ведь

Спала под снегами Европа,
А тут уже знал человек
Звериную злобу потопа,
И разум, и Ноев ковчег.

У Гитовича мы слышали обычно две похвалы людям. Одних, которые умели видеть мир по-своему, он называл поэтами, других — прямых и непреклонных — солдатами. Люди советской Армении, казалось ему, были одновременно и поэтами и солдатами. Вот почему ему так легко дышалось там. Вот почему Армения была для него чем-то вроде «волшебного колодца». В одном из «двух вариантов писем к Арутюну Галенцу» он писал:

Когда устану я и затоскую
Среди литературных передряг —
Я к Вам приду, как странник, в мастерскую
И постучусь, и задержусь в дверях.

«Я очень много видел гор. Но Арарат я чувствую. У меня такое ощущение, что он все время рядом, — говорил Гитович. — Просыпаюсь утром — и будто рядом Арарат…»

Он намеревался ежегодно ездить в Армению.

Я весною вернусь в Ереван,
А пока —
Под надзором жены —
Путешествует мой караван
По снегам — От сосны до сосны.

Я весною вернусь в Ереван:
Надо только дожить до весны.

Весной 1966 года Гитович заболел. Поездку пришлось перенести на осень.

«Через четыре месяца, через 120 дней — я прилечу в Ереван. В конце концов не так уж долго ждать», — писал он Л. Мкртчяну. Но 9 августа поэт умер.

Угощаю стихами

Как-то я шел с приятелем по Невскому. Нас остановил Гитович. Он только что возвратился из Кореи.

— Заходите ко мне через часок. Угощу хорошими стихами.

Через час мы были в «писательской надстройке», доме на канале Грибоедова.

Мы ждали стихов о Корее, рассказов о ней, но Гитович вытащил из конверта несколько листков плотной бумаги.

— Слушайте.

Он начал читать, и мне вдруг показалось, что стены тесной комнаты раздвинулись и мы уже не в городе, а в тайге, в которой шумит, задыхается ветер.

Рожок поет протяжно и уныло, —
Давно знакомый утренний сигнал!
Покуда медлит сонное светило,
В свои права вступает аммонал.
Над крутизною старого откоса
Уже трещат бикфордовы шнуры…

— Чьи это?

Гитович нетерпеливо отмахнулся и продолжал читать. По всему видно было, что мы у него не первые слушатели: многие строки он читал наизусть.

Это были удивительные стихи. До сих пор я не могу односложно определить, чем измеряется их сила и о чем они — о торжестве ли человека, побеждающего суровую природу, об упоении трудом, хотя труд этот, казалось, должен был быть безрадостным, о всепобеждающем ли могуществе человеческого духа. А может быть, и о том, и о другом, и о третьем?

Мы отворили заступами горы
И на восток пробились и на юг.
Охотский вал ударил в наши ноги,
Морские птицы прянули из трав,
И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.

В этот вечер я впервые слышал «Творцов дорог» Николая Заболоцкого.

Тогда плохо я знал творчество Заболоцкого. Когда-то, еще будучи совершенным юнцом, я не очень внимательно прочел «Столбцы». Стихи не понравились. Больше пришлась по душе «Горийская симфония». А вот промелькнувшая в газетах заметка о том, что Н. Заболоцкий собирается переводить «Слово о полку Игореве», запомнилась.

С «Творцов дорог» я, по существу, начал знакомиться с Заболоцким. Этому в немалой степени, способствовал Гитович.

Когда-то критика упрекала Гитовича за учебу у Заболоцкого. Но она была столь необъективной и несерьезной, что не повлияла на Гитовича. Дружба двух поэтов выдержала все испытания.

О первой встрече с Заболоцким Гитович рассказал в 1965 году в письме к А. В. Македонову, который тогда работал над книгой о Заболоцком.

Эта встреча произошла зимой 1927 года. Гитович вспоминал: в комнату, где он находился, вошел «молодой человек в красноармейской гимнастерке, башмаках и обмотках. Очень аккуратный. Очень светлые волосы, гладко причесанные на пробор, из таких, что рано редеют».

Гитович и Заболоцкий понравились друг другу, но сблизились они позднее.

> «В Доме книги в те времена на первом этаже вывешивалась „Ленинградская правда“. Те, кто не выписывал газет, а по моим наблюдениям, к таким людям относилось подавляющее большинство литераторов и художников, узнавали последние новости именно там — по соседству с лифтом. В тот день новости были сенсационны и прекрасны: ледокол „Красин“ спас перетрусившего Нобиле и его космополитическую экспедицию.
>
> Читаю, радуюсь, как и все. Гляжу — Заболоцкий. Поворачивается ко мне и говорит:
>
> — Вот, Александр Ильич, всему миру показали!
>
> Сказано это было с той *важностью*, как это слово понимали в начале 19-го века. Например, Пушкин. В хорошем смысле.
>
> Память у меня вообще отличная. Но эти слова Н. А. просто врезались в мою память. Возможно, потому, что никак я такой патриотической фразы от него не ждал. И примерно через неделю было у нас собрание поэтов. Происходило оно в столовой Ленкублита. Клуба у нас тогда еще не было. По вечерам собирались в том месте, где днем обедали.

Обсуждались вроде „Итоги года“. И выделяли — да, друг мой, — Корнилова и меня: за „Артполк“. Попробуй, не похвали оборонного поэта…

А я возьми да скажи в своем выступлении — среди всего прочего, что вот сидит среди нас прекрасный поэт Заболоцкий и вот что он на днях мне сказал у лифта. И я знаю, что говорил он со всей искренностью советского человека. А вот как он в манере „Столбцов“ или „Торжества земледелия“ напишет об этом? И понес еще какую-то чепуху…

Но для Николая Алексеевича это оказалось не чепухой. Ему в это время (я понял это много позже) нужны были не похвалы в адрес его таланта, а общественно высказанное убеждение в том, что он, Заболоцкий, глубоко советский человек и поэт. И я — не ведая того — попал в самую точку…

А между мной и Заболоцким протянулась некая ниточка, но в руках ее держал он».

По глубокому убеждению Гитовича, Заболоцкий всегда нуждался в общении с людьми, он протягивал руку молодежи, внимательно присматривался к ней, охотно помогая и одновременно — что очень важно — не отказываясь учиться у нее.

Заболоцкий многие годы был первым слушателем стихов Гитовича. Ежедневное общение с Заболоцким стало для Гитовича, по его собственному признанию, чем-то вроде университета культуры. Недаром впоследствии он любил повторять: «Заболоцкий старше меня на шесть лет, а умнее на двенадцать».

Не нужно выискивать в книжках Гитовича строки, навеянные Заболоцким. Их найти нетрудно. Но влияние Заболоцкого было серьезнее, глубинным, что ли. Оно сказывалось, как мне кажется, прежде всего на отношении к ремеслу, постоянном стремлении бережно и точно использовать слово. Есть у Заболоцкого стихи, смысл которых Гитович не уставал пропагандировать. Это было и его собственным убеждением,

И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?

Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,

Надевает колпак колдуна.

Заболоцкий был суровым и требовательным критиком. К сожалению, не сохранились многие его письма к Гитовичу, Но и те, которые довелось мне прочесть, весьма похожи на самые взыскательные рецензии. Вот письмо, относящееся к тому времени, когда Гитович уже занялся переводами с китайского (оно датировано 29 октября 1955 года):

> «Милый Александр Ильич, с истинным наслаждением я прочитал Ваши переводы Ду Фу, и нахожу, что, действительно, это замечательный поэт, а Вы с большой душой и редким мастерством перевели его. Эти прелестные маленькие миры полны такой мудрости и доброжелательности к людям, они так непретенциозны, так ненавязчивы и в то же время так душевно изящны, что не могут не покорить нас. Вы взялись за хорошее дело, нашли, видимо, к нему верный ключ, и я от всей души поздравляю Вас с этим успехом и желаю новых успехов, еще больших…
>
> Два маленьких замечания. Очень жалко, что в прелестном стихотворении „Отдаюсь своим мыслям“ есть неточности. „Иволга щебечет“ — ее мелодичный свист не похож на щебетанье. „Варю вино из проса“ — не так ли? Просо сколько ни вари, вина не получится. Можно, видимо, варить (кипятить) уже готовое вино, сделанное из проса (путем перегонки), — но у Вас-то не так получается. „На судьбу не взглядываю косо“ — не гляжу, не смотрю.
>
> А какое милое стихотворение!
>
> Для меня не ясно, хорошо ли в переводах стихов 8 века употреблять такие слова, как генерал, патриот, кредит… Я лично остерегаюсь: это слова-нувориши. А Вы что скажете?
>
> В общем, я рад за Вас и за нашу поэзию, которая обогатилась новой книгой полноценных русских стихов старинного китайского автора…»

До войны Заболоцкий перевел на русский «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели. Значительная часть этой работы прошла на глазах у Гитовича. Таким образом, перед ним была открыта дверь в творческую лабораторию большого переводчика.

Гитович посвятил Заболоцкому несколько стихотворений. Одно из них, написанное в 1939 году, было опубликовано в

«Литературном современнике»:

Давным-давно, не знаю почему,
Я потерял товарища. И эти
Мгновенья камнем канули во тьму;
Я многое с тех пор забыл на свете.

Я только помню, что не пил вино,
Не думал о судьбе, о смертном ложе.
И было это все давным-давно:
На целый год я был тогда моложе.

11 ноября 1940 года Заболоцкий пишет жене Екатерине Васильевне:

> «В случайно и редко попадающихся книгах читаю иногда чужие стихи и по ним стараюсь почувствовать, чем и как живут старые знакомые. Грустно было прочесть Санины стихи „Давным-давно, не знаю почему“».

В послевоенные годы дружба Заболоцкого и Гитовича возобновилась, окрепла, хотя встречаться они стали много реже, чем прежде: Заболоцкий перебрался в Москву.

Как и Заболоцкий, Гитович всю свою жизнь старался быть неподкупным рыцарем поэзии. В стихах, написанных в тяжкий час, он не без сарказма говорил о себе и о тех, кто пытается построить свое благополучие на спекуляции злободневными лозунгами:

В нашей удаче —
Рифмы богаче.
Ваши удачи —
Зимние дачи.
Наша победа — слово из меди.
Ваша, победа — ездить в «Победе».

Влияние Заболоцкого на Гитовича общеизвестно. Но мало кто знает, что влияние было взаимным, что дружба двух поэтов немало дала и Николаю Алексеевичу, особенно в пору его отхода от обереутов.

Обереутами называли себя молодые ленинградские писатели А. Введенский, Ю. Владимиров, Д. Хармс и другие. Они создали

«Объединение реального творчества» (отсюда и — обереуты) и в своей декларации утверждали право поэтов на аналитическое разложение мира на составные элементы сообразно «внутреннему чувству» художника. Впрочем, принадлежность к обереутам сама по себе вряд ли была столь уж опасной для Заболоцкого. Она обозначала лишь поиски собственных путей в литературе, а они, как известно, в то время не всегда были прямы и определенны.

Сближение, а потом и тесное общение с Гитовичем были для Заболоцкого шагом навстречу поколению, которое готовилось построить «лучшее бытие на лучшей из планет».

Может быть, Заболоцкий не всегда понимал до конца эту молодежь, но он высоко ценил ее, всегда присматривался к ней. Недаром он охотно посещал занятия Литературного объединения молодых ленинградских поэтов.

Гитович часто рассказывал мне о Заболоцком. От него я узнал об удивительной дружбе поэта с К. Э. Циолковским, их переписке. Заболоцкий послал Циолковскому свое «Торжество земледелия», а в ответ получил несколько работ о реактивном движении. Книжки Циолковского Заболоцкий прочел залпом, и, по собственному признанию, на него «надвинулось нечто до такой степени новое и огромное, что продумать его до конца я пока не в силах: слишком воспламенена голова».

— Поэты моего поколения стали удивительно ленивыми, — говорил мне Гитович, — ленивыми не в работе над строкой, а в узнавании того, что пока лежит за границей поэзии. Запустили спутника, мы вспомнили близлежащее — Лермонтова — «И звезда с звездою говорит». Но никто или почти никто не попытался средствами поэзии проникнуть в диалектику полета и в человеческое сердце, оказавшееся на космической орбите. Николай Алексеевич себе бы этого не простил. Мозг его был ненасытен. В середине двадцатых годов появилась впервые в русском переводе «Диалектика природы» Энгельса, Заболоцкий был в числе первых ее читателей. Такой жадности нам всем нужно завидовать.

И он читал мне наизусть «Лодейникова», куски из «Метаморфоз» и особенно им любимое «Все, что было в душе».

— Ты только послушай, как он выстегал всех нас, не умеющих написать о природе так, чтобы цветок не превращался в наших книгах в мертвый чертеж.

И снова я слышал:

И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье
И как будто пытался чужую премудрость понять.
Трепетало в листах непривычное мысли движенье,

То усилие воли, которое не передать.

До конца своих дней Гитович сохранил уважение к Николаю Заболоцкому, гордился дружбой с ним и был неутомимым пропагандистом его поэзии.

А. Гитович и А. Ахматова. 1960

Более сложные отношения были у Гитовича с Анной Андреевной Ахматовой.

— Я благодарен судьбе и Литфонду за то, что они свели меня с Ахматовой, — говорил Гитович. — Недавно мы отпраздновали вот за этим самым столом двадцатилетие нашей дружбы. За два десятка лет мы неплохо узнали друг друга. Но особенно мы подружились после того, как переселились в Комарове. Я изучаю ее стихи с прилежанием школьника и настойчивостью умудренного жизнью ученого. Знаешь, мне пришла в голову мысль: у мировой поэзии всегда были отцы. Вспомним Гомера, Данте, наконец нашего Пушкина. А чувства материнства поэты не испытывали. Нам, русским поэтам, повезло. С Ахматовой русская поэзия обрела материнство.

Гитович относился к Ахматовой с безграничным уважением, но без подобострастия и всепрощения. Они были людьми разными, порой чуждыми друг другу, на многое имели собственное, нередко диаметрально противоположное мнение. Гитович очень высоко ценил стихи Ахматовой, но, воздавая ей должное как поэту, спорил с ней, не торопился соглашаться с ее

доказательствами даже тогда, когда они были хорошо аргументированы. Я помню, как не раз во время разговоров о литературе на даче у Анны Андреевны Гитович вдруг срывался с места и в нарушение всех этикетов покидал общество.

— Что с тобой? — спрашивал я.

— Хочется побить посуду, выгнать всех. Понимаешь, когда мы с ней остаемся с глазу на глаз, я могу не стесняться, выкладываю все начистоту, а тут чужие люди…

Спорили они бесконечно. О поэзии. О только что написанной строке. О политике. Об оценках отдельных людей. Иногда споры были столь резки, что отношения на некоторое время прерывались. Мир чаще всего наступал сразу же после того, как кто-нибудь заканчивал либо стихотворение, либо перевод. Тогда можно было без всякой дипломатии прийти друг к другу. Даря Гитовичу одну из своих книг, Ахматова написала на ней: «В период перемирия». Они были нужны друг другу: Ахматовой — прямота Гитовича, Александру Ильичу — огромная культура и интуиция Ахматовой.

Гитович любил повторять, что Ахматовой закончится целый этап в нашей литературе, «отвалится огромная скала, которой нам долго будет не хватать». Он хотел, чтобы поэты почаще общались с Анной Андреевной. Тем друзьям, которые не забывали его в Комарове, он обещал, как подарок, встречу с Анной Андреевной. Он рассказал об этом в стихах, посвященных Б. Лихареву, заверяя, что, когда, подходя к дому, увидишь «на сквозной занавеске знаменитого профиля тень»,

Все забудешь ты в этом чертоге,
Где сердца превращаются в слух,
Подивясь на волшебные строки,
На ее верноподданных слуг.

Нет, на старость они не похожи,
Потому что сюда, в кабинет,
Или Смерть, или Молодость вхожи,
Но для Старости доступа нет.

Может, песню ты сложишь про это,
Чтоб друзья подивиться могли,
Как спокойная гордость поэта
Стала гордостью русской земли.

Еще в довоенные годы во времена работы Объединения молодых поэтов Гитович не только сам охотно бывал у

Ахматовой, но и приводил к ней своих друзей: Чивилихина, Шефнера, Лифшица…

Гости засиживались далеко за полночь.

Уже тогда Анна Андреевна выделила Гитовича.

Много позже она говорила мне:

— Дисциплина — затертое слово. Но в поэзии оно многое значит. Гитович — поэт высокой дисциплины стиха.

В записных книжках Гитовича осталось немало записей, навеянных его беседами с Анной Андреевной. Вот несколько из них:

> «Я многим обязан этому знакомству. Я впервые воочию увидел верноподданного того мирового государства поэзии, которое до этого было для меня лишь смутным и дымчатым в своей нереальности.
>
> Анна Андреевна Ахматова, а ведь она женщина, оказалась тем не менее рыцарем русской поэзии, который, в отличие от Дон-Кихота, побеждает. Ее живая жизнь есть гордость ее страны, ее языка.
>
> Пройдут года, пройдут десятилетия, и все равно молодой человек или молоденькая девушка будут читать и повторять, любя, стихи Ахматовой, потому что в них соединяются чистота и сила русского языка и огромное душевное благородство».

Я привожу эти строки из записных книжек для того, чтобы понятней была атмосфера глубочайшего уважения, которой Гитович окружал Ахматову.

— Я хотел бы отвести от нее девяносто из ста гостей, — говорил мне Гитович. — Надо беречь не только ее время и нервы. Репутацию тоже. К ней рвутся люди, которые тут же распространяют о ней всякую чепуху. Эта чепуха перепродается за границу. Будь моя воля, я ввел бы пропуска…

У Анны Андреевны были и настоящие друзья, искренне помогавшие ей, особенно в быту, в ее деловых отношениях с редакциями и издательствами. Но далеко не со всеми она могла посоветоваться, поговорить о том, что особенно дорого автору, когда на столе у него лежит недописанная или только что законченная вещь. Вот почему она так дорожила общением с Гитовичем.

Почти в каждый свой приезд к Гитовичу я либо встречал у него Анну Андреевну, либо вместе с ним отправлялся к ней.

Однажды Ахматова пришла к Гитовичу с только что присланной из издательства верстkой «Бега времени», пришла посоветоваться. Я не стал мешать, но краем уха прислушивался к

разговору. Он показался мне настолько интересным, что я попытался застенографировать его.

Гитович. У вас было, если память мне не изменяет, так:

И на гулких дугах мостов,
И на Волковом старом поле,
Где могу я плакать на воле
В чаще новых твоих крестов.

Это же — хорошо! Зачем вам понадобилось исправлять?

Ахматова. Где это вы видели кресты на братских могилах?

Я смотрю на Гитовича и вижу, как меняются краски на его заросшем щетиной лице: лукавую улыбку стирает то ли смущение, то ли восторг.

Гитович. До гробовой доски не додумался бы… В самом деле, было не очень точно.

Ахматова. Я и поправила… Давно, лет шесть назад. Теперь — «Над безмолвием братских могил».

Гитович. Мне хотелось бы увидеть всю строфу.

Ахматова протягивает ему машинописную страницу.

Еще одна встреча.

Я должен был сделать для «Литературной газеты» беседу с Ахматовой. Советуюсь с Гитовичем. Заранее обдумали вопросы. Идем к Ахматовой.

— Он хочет написать про наш спор насчет «Онегина», — без всякого вступления и совсем не по «сценарию» начинает Гитович.

— Что за кавалерийский наскок, — отшучивается Ахматова. — Не забывайте, что я — старуха.

Гитович выключается из разговора, но ненадолго.

— Знаешь, вот эта печка — самая патриотическая, — обращается он ко мне, а говорит, видимо, только для Ахматовой. — Она свалилась на американца, который пришел терзать Анну Андреевну.

Анна Андреевна смеется вместе с нами.

— Это было ужасно… Я ведь плохо слышу, но, наверное, был страшный грохот.

Время идет, а я не знаю, как приступить к делу. В голове вертятся две ахматовские строки, которые припомнил, готовясь к интервью. Я произношу их:

«Онегина» воздушная громада
Как облако стояла предо мной.

— Это облако, по убеждению Анны Андреевны, — замечает Гитович, — является только раз и только одному поэту.

— Вы опять за свое, — прерывает Ахматова. — Зачем возвращаться к тому, что уже давно ясно?

— Не очень. — Гитович явно хочет поработать на меня, но хитрит столь очевидно, что мне приходится вмешаться. Я тоже не по «сценарию» задаю Анне Андреевне вопрос о том, что она думает о жанре поэмы: ведь раздаются голоса, что он устарел…

— А напечатают? Разве это всем интересно?

Я вижу, что вопросы чисто риторические. Просто Анна Андреевна собирается с мыслями.

— Александр Ильич говорил вам о «доброжелателях», которые всячески советовали мне не заканчивать «Поэму без героя»? Предостерегали: конфуза бы не потерпеть. Я понимала их заблуждения.

Анна Андреевна говорит о том, что Пушкин нашел для «Евгения Онегина» особую 14-строчную строфу, особую интонацию. Счастливо найденная форма способствовала успеху «Онегина». Казалось бы, она должна была укорениться в русской поэзии.

— А вышел «Евгений Онегин» и за собой опустил шлагбаум. — Анна Андреевна поднимает и опускает пухлую кисть. — Кто ни пытался воспользоваться пушкинской «разработкой», все терпели неудачи. Даже Лермонтов, не говоря уже о Баратынском. Даже, позднее, Блок в «Возмездии». А Некрасов понял, что нужны новые пути. Тогда появился «Мороз, Красный нос». И Блок нашел новую форму для «Двенадцати», когда на улицах революционного Петрограда услышал новые ритмы, новые слова…

— Овладеть формой — радость дилетантов, ремесленников, — не унимается Гитович. — Расковать ее — значит приобрести призрачную свободу.

— Ну, кто же принимает в расчет ремесленников!

— Но, признайтесь, вы против традиций?

Гитович начинает развивать свою мысль о том, что талант таланту — рознь. Малый талант всегда хочет чем-то выделиться, чем-то отличиться, то есть быть с самого начала непохожим. Большой — об этом просто не думает. Он не боится подражания по той простой причине, что он вообще ничего не боится. Черты преемственности у гениальных поэтов видны так отчетливо потому, что они этой преемственности не скрывали.

— Баратынский написал: «Когда тебя, Мицкевич

вдохновенный, я застаю у Байроновых ног». Он просто ничего не понял, и его призыв «восстань» не был услышан. Мицкевич остался великим поэтом, а Баратынский…

— Обожаю Баратынского.

— Я ведь тоже не против него. Только к нему нужна иная мерка.

— Баратынский хотел пробудить в Мицкевиче гордость, помочь ему, — терпеливо объясняет Анна Андреевна.

— Гордость — великое дело! Маяковский был очень гордым человеком. Но к Пушкину пришел покаянно. Сделал это всенародно и не потерял при этом чувства собственного достоинства. Не покаявшись на людях, он, видимо, не мог бы уважать себя как поэта.

— Александр Ильич, вы не думаете о социальных корнях. Маяковский протягивал руку Пушкину, что-то преодолевая в себе.

— Я помню ваши стихи, посвященные Маяковскому, — перебивает Гитович и не без иронии замечает: — Почти через два десятилетия после того, как Маяковский стал знаменитым, вы предрекли его блистательную судьбу: «И еще не слышанное имя молнией влетело в душный зал».

— Мне приятно, что вы запомнили мои стихи, — ледяным тоном благодарит Ахматова.

Как-то я рассказал Гитовичу: Анна Андреевна показала мне только что присланный ей номер башкирской комсомольской газеты «Ленинец». На ее литературной странице была напечатана удивительная фотография: береста со стихами. Под снимком подпись:

> «Тираж этой книги — один экземпляр. И „отпечатана“ она не на бумаге, а на березовой коре. Семь страниц, связанных простой веревкой, заполнены стихами Анны Ахматовой.
>
> Переписаны стихи в трудное для человека время. Чернил достать не удалось, а бумаги не было. Может быть, эти стихи помогли человеку выжить? Счастлива судьба поэта, чья лира так поддерживает людей».

— Знаешь, — заметил после долгого молчания Гитович, — даже трудно представить, как много Ахматова делает для умножения славы нашей советской поэзии. И не только как поэт. Как гражданин. Кто только не пытался соблазнить ее — русские эмигранты, американский дядюшка!..

— «Мне голос был. Он звал утешно…» Это ты имеешь в виду?

— И это. И другие стихи, такие же прозрачные:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

И после небольшого молчания:

— Я все собираюсь написать о том, чем дорога мне Ахматова. Не только о поэзии. О гражданственности ее.

Как-то, уходя от Ахматовой, я зашел к Гитовичам.

— Мы только что говорили о Цветаевой. По-моему, Анна Андреевна относится к ней странно. Мне сдается: даже не любит.

— Ты думаешь? — саркастически улыбается Гитович. — А ты видел, как королева относится к фрейлинам?

Я пожал плечами.

— Сильва, — зовет Гитович жену. — А ну, покажи-ка ему письма Цветаевой. Вот, читай, и поймешь, какие были отношения, — и протянул два машинописных листа.

На первом копия письма от 26 апреля 1921 года:

> «Ах, как я Вас люблю и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас и как высоко от Вас! — Если были бы журналы, какую бы я статью о Вас написала! — Журналы — статью — смеюсь! — Небесный пожар!
>
> Вы мой самый любимый поэт, я когда-то — лет шесть тому назад — видела Вас во сне, — Вашу будущую книгу: темно-зеленую, сафьяновую, с серебром, — „Словеса золотые“, — какое-то древнее колдовство, вроде молитвы (вернее — обратно!) — и — проснувшись — я знала, что Вы ее напишете».

Второе письмо более позднее. Цветаева, еще не хлебнувшая лиха в эмиграции, звала Ахматову за границу:

> «…езжайте смело… Напишите мне тотчас же, когда — одна или с семьей — решение или мечта. Знайте, что буду встречать Вас на вокзале…»

Но и на этот раз Анна Андреевна «равнодушно и спокойно» «замкнула слух». Она осталась в родной России, чтобы делить с ней горести, радости, чтобы внести свой вклад в советскую поэзию.

Эта позиция Ахматовой сыграла немаловажную роль в зарождении и укреплении дружбы Гитовича с Анной Андреевной.

А. Гитович и А. Ахматова в поселке Комарово.

Человек резкий, умеющий «рубить сплеча правду-матку», Гитович добрел, когда говорили хорошее о его друзьях, хвалили их стихи. И сам очень любил читать вслух написанное ими.

Давние дружеские отношения связывали Гитовича с Михаилом Светловым. «Мы с тобой подмастерья из одного цеха», — говорил Светлов. Разница в возрасте между ними была небольшой. Оба ценили друг друга, хотя при встречах чаще спорили и изощрялись в «розыгрышах».

В последние годы они встречались редко, но в каждый свой приезд в Ленинград Михаил Аркадьевич, забросив чемодан в «Европейскую», поселялся у Гитовичей. Тогда ночь, день, утро — все сливалось в одно непрерывное застолье, где главной гостьей была Поэзия. Сколько знаменитых светловских шуток, которые с быстротой молнии распространялись по стране, рождалось за этим столом в состязаниях двух острословов!

Светлов считал, что шутка — лучшее лекарство для Гитовича. А в последние годы Александр Ильич все чаще и все серьезнее хворал. Он не любил болеть, не привык отлеживаться в постели, но, случалось, вынужден был покориться требованиям врачей — лечь в больницу, откуда при первой возможности убегал. Об этом и пишет Светлов: «Твоя воля напоминает мой бюджет. Даже когда есть, то быстро иссякает».

Как-то я рассказал Гитовичу о своей встрече со Светловым. Михаил Аркадьевич был уже тяжко болен, знал это, но по-прежнему сохранял то чуть ироническое отношение к себе, к своим хворостям, что, как мне кажется, позволяло ему вышучивать и всех, с кем ему приходилось общаться. Я говорил о том, что обидно видеть: такой большой поэт производит

впечатление неухоженности, костюм на нем мятый, сорочка неглаженая, а сейчас, когда он так болен, ему, мол, особенно нужны забота, уход, внимание.

— Ему это было нужно и тридцать лет назад, — заметил Гитович. — Только как понимать это «нужно»? Нужно кому — Светлову или тем, кто мечтает создать ему уют и красивую жизнь? Убежден — вторым больше. Кто будет возражать против свежей рубашки и хорошего костюма? У Миши так мало времени, что он об этом попросту не думает. Он стал классиком, но остался, как был, бессребреником. Если бы мне удалось написать «Гренаду», я согласился бы всю жизнь проходить в опорках. — И тут же начинал читать стихи Светлова:

Нет! Жизнь моя не стала ржавой,
Не оскудело бытие…
Поэзия — моя держава,
Я вечный подданный ее!

Каждый раз, когда мы встречались в Москве, Светлов в свою очередь неизменно спрашивал о Гитовиче. Однажды, отвечая на вопрос Михаила Аркадьевича о том, что поделывает Гитович, я сказал односложно «переводит», но сказал это так, что можно было понять «переводит» как «бездельничает».

— Попомни мое слово, старик. Саня всех нас обманет. Он — почти по Маяковскому: бороду пощиплет, попишет стихи. Накопит столько, что у всех у нас глаза от зависти выцветут.

Когда я передал этот разговор Гитовичу, он хитро улыбнулся.

На клочке бумаги Гитович записал:

«О М. А. Светлове нельзя говорить: исключительно одаренный, необычайно талантливый и т. д. Так можно было бы сказать о некоторых других советских поэтах. Если угодно знать мое мнение: Светлов есть уникальное явление в нашей поэзии, и этой уникальности стоит позавидовать.

М. А. Светлов никогда не являлся профессиональным поэтом в том смысле и значении, как это сформулировал бы Пушкин. Даже лучшие стихи Светлова иногда просто поразительны по несовершенству отдельных строк. И тем не менее мы находились, находимся и будем находиться под властью этого, отнюдь не нарочитого несовершенства…

Сердце Светлова — есть сердце святого времени нашей Революции».

Эти строчки были написаны еще при жизни Светлова.

— Светловская поэзия для меня — как та женщина, которую, полюбив однажды, разлюбить уже не в состоянии, — говаривал Гитович.

Гитович безгранично любил своих литературных друзей. Он знал их стихи, поддерживал их, когда помощь была необходима, но при этом он никогда не был снисходительным. Наоборот, по закону дружбы он сохранял за собой право сказать о стихах самые резкие слова, если, по его мнению, они того заслуживали. Он был непримирим к своим литературным недругам, часто даже неправ, но стихи их оценивал объективно.

Как-то в его присутствии неодобрительно отозвались об одном крупном поэте, который в последние годы чересчур торопился печатать свои стихи. Говоривший явно рассчитывал на поддержку Гитовича, но тут же публично был высечен. Гитович возмущался:

— Как можно так говорить о поэте, написавшем…

И мы слушали стихи этого поэта, действительно отличные.

— Знаешь, — сказал мне Гитович, — мы научились судить беспощадно. Но беспощадность никогда не была единственной мерой чувств. Нужно учиться взыскательности.

Взыскательность его к себе была выше всякой меры. Недаром после его смерти в ящике письменного стола была найдена целая книга ненапечатанных стихов. Да каких! Всякий, кто прочтет только его «Дорогу света», поймет, каким большим поэтом был ее автор.

В этой книге много посвящений к стихам — художникам А. Галенцу и Б. Семенову, литературоведу Л. Мкртчяну, С. Кара-Дэмуру, фронтовому другу Киму Демину и многим другим. Поэт умел дорожить дружбой, сохранять ей верность, если те, кому он дарил свою привязанность, не изменяли главному — Поэзии и Отечеству.

Рукопожатие через тысячу лет

До сих пор еще распространено мнение, будто хороший переводчик может «вытянуть», «спасти» плохие стихи. Глубокое заблуждение! Мертворожденное дитя никогда не увидит солнечного света. Ремесленная поделка, переведенная даже самым талантливым переводчиком, в лучшем случае будет искусно замаскирована под поэзию. Только «божество и вдохновенье», горевшие в одном сердце, способны высечь искру в другом — в сердце переводчика.

Я не берусь судить о точности переводов Александра Гитовича стихотворений восточных поэтов. Для этого необходимо знать переведенные им стихи не в подстрочнике, а в подлинниках. И все-таки, когда читаешь эти переводы, не сомневаешься, что перед тобой — превосходная работа мастера.

Мне кажется, переводы Гитовича — столь большая и важная страница и в его творческой биографии, и в нашей литературе в целом, что она, бесспорно, заслуживает отдельного специального исследования. Я же коснусь этой темы лишь вскользь; без нее литературный портрет поэта будет неполным.

Гитович познакомил нас с великими восточными поэтами и прежде всего с лучшими представителями классической китайской поэзии, и сделал это столь блистательно, что мы совершенно не замечаем, что беседуем с Ли Бо или Ду Фу через посредника, — наше общение с ними естественно и непринужденно.

Больше того, мы перестаем замечать, вернее, не хотим помнить, что перед нами — памятники литературы. Когда читаешь переводы Гитовича, боль, радость, горе, восторг, которыми жили люди более тысячи лет назад, воспринимаются нами как свои собственные. Барьеры времени не существуют. Но сохранен аромат времени.

Великое искусство поэтического перевода, видимо, в том и состоит, что, сохраняя национальные особенности поэта, приметы его времени, переводчик должен сблизить автора и читателя, чтобы они протянули друг другу руки.

Гитович любил повторять, что человек, занимающийся поэтическим переводом, приобретает больше, чем отдает. Он отдавал переводам все, что имел, часто жертвовал собственными стихами, которые оставались недописанными, но зато тысячи людей благодарны ему: он открыл им ранее неведомое.

«Переводчик — влюбленный человек, — заметил

как-то Гитович, — ему ничего не жалко для того, чтобы предмет его любви был как можно лучше, чтобы цены ему не было. Все свои личные находки он бескорыстно и безвозмездно отдает поэту, которого любит и почитает больше, чем самого себя».

В театре любят повторять: режиссер должен умереть в актере. Наверное, это очень точно для театра, но во сто крат точнее для литературного обращения: настоящий переводчик умирает в каждой строчке переводимых им стихов. Он отдает ей талант свой, бессонные ночи, опыт души. Гитович не сомневался в этом:

В этом нет ни беды,
Ни секрета:

Прав мой критик,
Заметив опять,

Что восточные классики
Где-то

На меня
Продолжают влиять.

Дружба с ними
На общей дороге

Укрепляется
День ото дня,

Так что даже
Отдельные строки

Занимают они
У меня.

До войны Гитович занимался переводами только от случая к случаю. Но, оказавшись вместе с войсками Советской Армии в освобожденной Корее, он не мог не познакомиться с корейскими поэтами и сразу почувствовал себя первооткрывателем.

Особенно по сердцу Гитовичу пришелся эпический размах поэзии Те Ги Чена, его напряженная публицистичность. Поэт берет кисть («она — мой штык, она — мое оружье»), чтобы восславить завоеванную свободу. Кстати сказать, Те Ги Чен был

добровольным переводчиком Гитовича и известного ленинградского литературоведа Б. Бурсова в их совместных поездках по только что освобожденной Корее, результатом которых явилась книга «Мы видели Корею».

А. Гитович в корейской деревне. 1947

Гитович пришел на землю Кореи вместе с советскими войсками. Здесь, на далеких сопках, на берегу океана, закончилась для него большая война. Многие его друзья-поэты уже давно возвратились в родной Ленинград, сменили военные гимнастерки на штатские пиджаки, а Гитович все еще бродил по переднему краю, все еще пристально всматривался в лица советских солдат, продолжавших воинский подвиг.

Об освободителях Кореи он рассказал прежде всего в стихах. Этих стихов немного, но они внесли дополнительные краски в его фронтовую поэзию. Среди них — превосходное стихотворение «Цвета Кореи».

Когда на пестром плоскогорье
Сияет лето,
Ты различишь в его просторе
Два ясных цвета.

Холмы и нивы, горные склоны и прибрежные леса дают Корее зеленый цвет. Бурные реки, кипящие пеной, одежда крестьян,

мотыгами обрабатывающих землю, камни на могилах их предков — белые. А советские воины-освободители принесли на танках и крыльях своих самолетов третий цвет, издавна принадлежавший корейцам, — красный.

Прошедший в битве раскаленной
Огонь и воду,
Он белый цвет и цвет зеленый
Вернул народу.

В Корее Гитович в полной мере изведал счастье, которое знакомо было всем нашим воинам, участвовавшим в освободительных походах и в Европе, и на Востоке. Он с гордостью писал о том, как, встречая его, корейцы благодарили: «Несет Россия — Корень Жизни всем простым и угнетенным людям».

Поэт побывал во многих корейских городах, в отдаленных селах, встречался с сотнями людей и за праздничным, столом и в поле, и постепенно перед ним раскрылась душа народа, а это помогло ему приобщиться к духовной жизни его, познакомиться с искусством — живописью, танцами и, конечно, прежде всего с поэзией Кореи.

Вот тогда-то он вместе с Бурсовым решили написать книгу о Корее. Их поддержал Союз писателей. Советскому командованию были посланы соответствующие письма, и вскоре ленинградские литераторы получили в свое распоряжение автомобиль, чтобы начать новую поездку по стране, уже для сбора материалов.

Б. Бурсов и А. Гитович с корейскими друзьями. Корея, 1947

Когда материал был наконец собран, соавторы обратились к члену Военного Совета Т. Ф. Штыкову с просьбой разрешить им выехать в Ленинград.

— Почему бы вам не писать книгу о Корее в Корее? — резонно спросил Штыков.

Говорить о том, что литераторы истосковались по семьям, родному городу, о том, что они, наконец, мечтают о демобилизации (ведь война давно окончилась!), было бесполезно. И Бурсов сказал:

— Товарищ генерал, а знаете, что «Мертвые души» Гоголь писал в Риме?

Генерал секунду помолчал, потом рассмеялся и сказал:

— Ну, ладно, дадим вам двухмесячную командировку в Ленинград.

Командировка действительно была выписана, но писаря, видимо, оформили ее не так, как положено. Поэтому, когда по приезде в Ленинград Гитович и Бурсов явились к военному коменданту города, чтобы стать на учет и продовольственное снабжение, им было в этом отказано. Работа над книгой неожиданно осложнилась, ибо в 1946 году без карточек и продовольственных аттестатов прокормиться было крайне сложно. Но как бы там ни было, почти за два месяца книга была готова и сдана в журнал «Новый мир».

Гитович усиленно изучал корейскую поэзию. Те Ги Чен помогал ему. Так началась дружба ленинградского литератора с

поэтами Кореи.

Гитович с увлечением переводил их стихи, многое сделал для того, чтобы сблизить обе поэзии — русскую и корейскую. Интерес к поэзии Кореи повлек за собой обращение к китайским поэтам. Китайской классической поэзии он и отдал жар своей души, свое поэтическое мастерство.

Про одного из представителей этой поэзии — Ван Вэя (701–761) современники говорили: у него «в стихах — картины, а в картинах — поэзия». Стихи его действительно были многоцветными, краски в них — как на древней миниатюре — не тускнеют от времени. Для поэта Цао Чжи (192–232) страданья соотечественников становились и его личным страданием, пыткой его сердца.

Родится
Слабый человек на свете,

Потом исчезнет,
Как роса на солнце.

Природа
Не дарует нам бессмертье:

Как тень и эхо —
Юность не вернется.

И я — не камень,
Не металла слиток,

Погибну я
Среди сердечных пыток.

В этих и других китайских классических поэтах Гитовича привлекали гуманизм, вера в человека, безграничная любовь к родной стране и ее народу.

Гитович не знал китайского языка, но он работал рука об руку с теми, кто делал подстрочники. «Работать надо с учеными, влюбленными в китайскую поэзию, — говорил он. — Впрочем, настоящий китаевед не может не быть влюбленным в поэзию: потому что в Китае поэт и ученый — синонимы». Следует заметить, что Гитовичу повезло: его советчиками и друзьями были такие специалисты древней китайской поэзии, как Г. О. Монзелер, Б. И. Панкратов, молодые ученые В. В. Петров, О. Л. Фишман, Е. А. Серебряков и др. Все это в сочетании с высокой

интуицией и великолепной техникой позволяло ему добиваться того, что авторы, жившие в незапамятные времена, становились для нас живыми людьми.

> «Если бы Вы ничего не сделали, кроме этих переводов, — писал Гитовичу 15 мая 1957 года Николай Заболоцкий, только что прочитав книгу избранной лирики Ли Бо, — и в этом случае Вашему имени была бы обеспечена почетная известность. Будем надеяться, что наши потомки воздадут должное поэтам-переводчикам, искусство которых нимало не уступает искусству оригинальной поэзии».

Это — свидетельство собрата по перу, тоже отдавшего переводам немало сил, мастерства и вдохновенья.

А вот что пишет профессор Н. Федоренко, не раз готовивший для поэта подстрочный перевод:

> «Ваш перевод оставляет наилучшее впечатление. В нем настроение и атмосфера поэта и литератора. Это уже не перевод. Здесь творчество. Остается поэтому лишь изумляться близости к оригиналу, которую Вам удалось сохранить».

Мы уже знаем, что всю жизнь Гитович мечтал быть первопроходцем. Он хотел открывать перед читателем красоты Карелии и картины напряженнейших будней пустыни. Он активно разрабатывал военную тему и внес свою лепту в развитие лирики. В древней китайской поэзии он увидел такие драгоценные россыпи, что сделал работу над переводами главным делом своей жизни в последние годы. Как истинный художник, он не мог наслаждаться этими богатствами в одиночестве.

Русский читатель почти ничего не знал о первом великом поэте Китая Цюй Юане (340–278 до н. э.), творчестве Тао Цяня (365–427) и их прямых наследников — замечательного романтика Ли Бо (701–762), его друга — выдающегося лирика Ду Фу (712–770). Правда, первые переводы этих и некоторых других китайских поэтов были сделаны в 20-х годах нашего века Ю. К. Шуцким под редакцией академика В. М. Алексеева. Но они не стали достоянием широкого круга читателей. В большой и самобытный мир их поэзии ввел нас Гитович.

Две с половиной тысячи лет назад жил поэт Цюй Юань (340–278 до н. э.). Через все его произведения проходит тема трагической участи народа и государства, предаваемых бесчестными вельможами. Историк Сыма Цянь, живший сто лет

спустя после смерти Цюй Юаня, писал:

> «Цюй Юань сумел показать всю широту справедливости и добродетели, он описал все способы устранения смут в государстве. При этом он учел все до самого конца. Сочинения Цюй Юаня лаконичны, слова сокровенны, стремления чисты, деяния бескорыстны. Стихи его невелики по размеру, но говорится в них о вещах великих; он приводит близкие нам примеры, но в них можно усмотреть весьма глубокий смысл. Так как стремления Цюй Юаня чисты, то все вещи, о которых он говорит, благоухают. Так как деяния его были бескорыстны, то он предпочел смерть изгнанию. Его хотели втоптать в грязь, но он отряхнулся и вспорхнул над прахом, как мотылек. Никакая грязь не пристала к нему! Стремления, которые им руководили, в блеске своем могут соперничать с сиянием солнца и луны».

Гитович перевел немало стихов Цюй Юаня. К числу наиболее совершенных переводов относится перевод лучшего из 25 его произведений — «Лисао» («Скорбь»). Это — большая поэма, повествующая о переживаниях поэта, только что несправедливо отрешенного от должности и сосланного на юг. Однако содержание поэмы выходит далеко за рамки биографии одного человека. В ней с исчерпывающей полнотой поэт высказывает свой взгляд на современную ему действительность. Цюй Юань свой талант, свою мудрость хотел отдать людям, государству, чтобы видеть его «в полном процветанье», но —

Погрязло все
В стяжательстве махровом,

Где каждый
Черной злобой одержим.

Деспотизм власти тиранов, которым душа народа навек чужда, низкопоклонство претили поэту, он задыхался в атмосфере, где слово разума вызывало насмешку или негодование.

Скорблю —
Какие люди правят нами!

В какой ничтожный век

Живу сейчас!

И слезы
Закрываю я цветами,

А слезы
Все текут из старых глаз…

Цюй Юань пишет о крушении своих иллюзий и тем не менее не изменяет идеалам.

Не дружит сокол
С птицами простыми,

Кружась над миром
Гор или равнин.

Квадрат и круг —
Они несовместимы,

Двух дао[2] нет —
Есть светлый путь один.

Гитович не сразу взялся за перевод поэмы. Стало известно, что издательство предложило перевести «Лисао» Ахматовой. Она начала работать над переводом.

Н. Т. Федоренко, сделавший подстрочник, недоумевал, почему медлят с переводом «Лисао».

Между тем объяснение было простое.

> «Я, как Вы прекрасно понимаете, готов был бы идти для Анны Андреевны хоть в огонь и в воду, а не то чтобы уступить ей Лисао, — писал Гитович Н. Т. Федоренко. — Но Ваш перевод остался у меня, и я много раз возвращался к нему и размышлял над этой действительно потрясающей и гениальной поэмой.
>
> И вот ведь как бывает: только переводя стихи Цао Чжи, самого прямого на мой взгляд, последователя Цюй Юаня, я нашел (для себя, конечно), как мне кажется, правильный и рифмованный путь для перевода Лисао. Я перевел поэму за четверо суток. Я не оговариваюсь: я подсчитал, что за это время я спал не больше десяти часов. Иначе я не мог…

> Итак, когда я перевел Лисао и сжег свои корабли, я не мог, разумеется, и думать о том, чтобы опубликовать его без благословения Вашего и без благословения первого переводчика, потому что им была Ахматова. Я послал ей поэму. Телеграмму я получил сразу: „Благодарю за великого Лисао. Перевод выше любых похвал“».

С не меньшим воодушевлением Гитович работал над переводами Ли Бо. Этого поэта называли магом, волшебником. Он умел, как говорили современники, «взнуздать ветер» и мчаться в свободном полете во Вселенной. Земля была для него постелью, а одеялом — небо. Это был эпикуреец и мечтатель, изведавший в жизни, казалось, все, что может выпасть на долю человека: побывал на вершине славы и был приговорен к смертной казни, правда, потом замененной ссылкой. Ли Бо превыше всего ставил независимость. Однажды «в кабачке на базаре в Чанани» он дремал, когда император прислал ему приглашение на императорскую лодку. Ли Бо не соблазнила милость владыки. Он просил посыльного передать: «Я слуга вашему величеству, но когда пьян, я сам — небожитель».

Гитович переводил и Ду Фу, мечтавшего «такой построить дом», где всем людям было бы тепло («пусть я замерзну — лишь бы было так»).

Ду Фу, пишет Гитович в «Заметках переводчика»:

> «никогда не обладал славой, какой обладал его старший друг Ли Бо, которому, так или иначе, слава помогала жить. Ду Фу, — он был моложе Ли Бо на 11 лет, — восхищался своим гениальным другом. О соперничестве между ними, казалось, не могло быть и речи. Так думали современники, так думали друзья этих двух поэтов. Так не думал только один человек в Китае: Ли Бо. Это явствует из его стихов к Ду Фу, иногда шутливых и слегка насмешливых. А если посоветоваться с его стихами, то совершенно отчетливо видно: Ли Бо знал, что его молодой друг не только равноценен ему по необычайной своей гениальности, но где-то Ду Фу более серьезен».

У старых китайцев, отметил академик Н. И. Конрад на обсуждении переводов Гитовича, была великолепная традиция: не отпускать своих поэтов в вечность, не дав им наименования. Ду Фу дали наименование — шэн, что значит мудрец…

Ду Фу писал о страданиях народа как о своих собственных.

Его поэзия — поэзия самой высокой гражданственности. Он никогда не забывал о том, что во дворцах «вина и мяса слышен запах сытый, а на дороге — кости мертвецов». Он с гордостью причислял себя к тем, кто «глиняный старый кувшин берет» «в крестьянские грубые руки», совершенно недвусмысленно заявлял о своих социальных симпатиях.

Книга стихов Ду Фу в переводах Гитовича выдержала за короткое время три издания. С ее страниц звучит голос поэта, о котором невозможно сказать, что он «древний» — так современно звучат его стихи. Вот, например, «Песня о хлебе и шелковичных червях»: поэт огорчен, что всюду, куда ни бросишь взор, увидишь воинов в доспехах.

О, если б
Переплавить мы могли

Доспехи
На орудия труда,

Чтоб каждый дюйм
Заброшенной земли

Перепахать —
И было б так всегда!

Чтобы крестьянин
Сеял в добрый час

И шелководством
Занялся опять;

Чтоб мирным людям,
Как теперь у нас,

Не надо было
Слезы проливать;

Мужчины в поле
Выполняли б долг,

И пели женщины,
Мотая шелк.

Двадцать послевоенных лет отдал Гитович переводам

древней китайской поэзии. Постепенно он выработал твердые принципы этой работы. Они основываются на опыте всего переводческого цеха, на традициях таких выдающихся мастеров, как С. Маршак, М. Лозинский, А. Ахматова, К. Чуковский, и многих других.

Гитович с предельной четкостью зафиксировал свои взгляды в записных книжках:

> «Переводчик обязан видеть, и не только видеть, а и любить человека, стихи которого он переводит.
>
> …Пока я с Байроном курил,
> Пока я пил с Эдгаром По…
>
> Переводчик должен пить с пьющим, курить с курящим. Если это не так, то нечего и говорить о художественном переводе.
>
> Это не искусство, а промысел, — даже не ремесло, которое подлежит уважению.
>
> В жизни они будут ехать в разных вагонах — для курящих и некурящих. Эдгар По — в шалмане, а переводчик ждет у входа».

И далее:

> «Надо всегда помнить и как бы душевно ощущать, что поэт, ныне принадлежащий к числу древних классиков, был для своей эпохи глубоко современным поэтом. Сами стихи поэта для его эпохи были современными стихами. И перевод таких стихов должен быть, соответственно, современным. Величие подлинно классических поэтов в том и заключается, что их мысли и чувства непреходящи. Иногда они более нужны потомкам, чем современникам. В этом истинная правда перевода».

А коль скоро так, то время, разделяющее поэта и переводчика, нельзя уподобить пропасти. Но нужны мосты для одоления этого препятствия.

> «Переводчик стихов должен обладать собственным поэтическим опытом. Его собственное мастерство поэта должно быть бесспорным».
>
> «Так как, повторяю, я абсолютно до глубины души

верю, — пишет Гитович, — что искусство перевода есть равноправное среди искусств, то переводчики, в любом тяжелом своем положении, должны и тут в своей преданности и жертвенности стать в ряд с другими братьями по искусству: поэтами, прозаиками, живописцами, композиторами, иначе мы убьем и унизим свое искусство».

Все эти принципы были не только декларированы. Они получили конкретное воплощение в переводах Гитовича. Работа Гитовича-переводчика — крупное явление нашей после военной литературы. В качестве «свидетельского показания» приведу письмо В. Гроссмана от 27 мая 1957 года:

«Дорогой Александр Ильич!

Получил Ваш новый подарок — стихи Ли Бо. Прочел книгу, спасибо Вам.

Странно, что сердце китайца, бившееся тысячу двести лет тому назад, заставляет московского жителя эпохи реактивной авиации ощущать, узнавать свои радости, слабость, печаль.

Странно, что старый китаец, чье сердце не остыло за тысячу лет, дернул шелковую нитку, вызвал эту нашу переписку.

И неужели — и сегодняшние и тысячелетние прочные нити могут быть порваны термоядерной реакцией».

Гитович не мыслил работы над переводами без полного проникновения в особенности почерка переводимого поэта, в основы его миропонимания. Он мог не разделять его взгляды, но войти в его дом, обжить его считал своей обязанностью.

И снова — свидетельство:

«Главная Ваша победа заключается в том, что Вы с замечательной точностью подобрали стилистическую отмычку, нашли стилистический метод передачи китайских стихов — по-русски, — читаем в письме Гитовичу Николая Чуковского, в свое время много и успешно работавшего в качестве переводчика. — Для этого нужно было обладать беспорочным вкусом, глубочайшим знанием возможностей русского стиха и умением свободно пользоваться ими. Как у Вас все эмоционально, и какую силу этой эмоциональности придает сдержанность, предельный такт. На первый

взгляд все кажется импрессионистичным, но на поверку оказывается необыкновенно отчетливым, классичным — ничего приблизительного, никакого мусора, никакой неразберихи. Это не только талантливейшая, но и благороднейшая по чистоте переводная работа последнего десятилетия».

Переводы не были для Гитовича отхожим промыслом.

«Я исхожу из того положения, — заметил он, — что поэтический перевод есть подлинное искусство, и это означает, что оно в случае торжества и удачи приносит автору не меньше счастья и удовлетворения, чем собственное оригинальное произведение».

Переводческой работе посвящен цикл стихотворений поэта. Одному из них предпослан эпиграф из А. Тарковского:

Для чего же лучшие годы
Продал я за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова!

Гитович решительно не согласен с Тарковским. Конечно, признает он, «этот труд, как всякий труд — не отдых, но я о нем не сожалею, нет!». Задумываясь над строчками Тарковского, он окидывает мысленным взором все эти долгие двадцать лет. Перед ним чередой выстраиваются бессонные ночи и озаренные удачей дни, бесконечные поиски вернейших слов, беседы с ленинградскими китаистами, переписка с Н. Конрадом, который поддерживал его советами (недаром «Три стихотворения о переводах» посвящены ему), и неудовлетворенность собой — все было за эти двадцать лет работы. Она, эта работа, требовала не меньшего напряжения сил, чем сочинение оригинальных стихов. Это был Труд с большой буквы:

Он был моей свободою и волей,
Моею добровольною тюрьмой,
Моим блаженством и моею болью,
Сердечной болью, а не головной.

Пытаясь современными словами
Перевести китайский старый стих,
Я как бы видел древними глазами

Тревогу современников своих.

И так я сжился с опытом столетий,
Что, глядя на почтенных стариков,
Невольно думалось: ведь это дети —
Я старше их на столько-то веков!

Брак Гитовича с древней китайской поэзией был заключен не по расчету, а по любви, и это, как свидетельствует старейшина цеха советских переводчиков Корней Чуковский, позволило А. Гитовичу стать «непревзойденным переводчиком древней восточной поэзии».

Небезынтересен такой факт: в последние годы в некоторых европейских странах (Венгрия, Югославия) появились переводы классиков китайской поэзии, сделанные не с оригиналов, а с переводов А. Гитовича.

Надо сказать, что Гитович, обладавший высокоразвитым чувством взыскательности к себе, о своих переводах китайцев говорил с гордостью. Эта гордость, конечно, была продиктована сознанием человека, хорошо, честно потрудившегося, сумевшего своим искусством вернуть людям красоту скрытых веками шедевров. В «Надписи на книге Лирика китайских классиков» Гитович ответил тем, кто недоумевал, почему он так часто отдавал свои силы переводам, вместо того чтобы писать оригинальные стихи:

Верю я, что оценят потомки
Строки ночью написанных книг,—
Нет, чужая душа не потемки,
Если светится мысли ночник.

И, подвластные вечному чувству,
Донесутся из мрака времен
Трепет совести, тщетность искусства
И подавленный гордости стон.

Работа Гитовича над переводами древних китайских поэтов была не отходом его от жизни, а одним из маневров, с помощью которого искусный полководец выводит свою армию на поле сражения, чтобы одержать новые победы.

И мы, познакомившись с воинами этой армии, с поэтами, жившими за много веков до нас, почувствовали их локоть рядом со своим и снова испытали гордость, рожденную сознанием: силы

великой правды неисчислимы.

Послания друзьям

Тихо зимой в Комарово. Если миновать Морскую и, свернув налево, по узкой, голубоватой от январского неба тропке пройти через небольшую сосновую рощу, то выйдешь к дачам Литфонда. В одной из них много лет прожил Гитович. Зимой на даче знобко. Гитович перебирался с веранды в крошечную комнатенку. Она быстро нагревалась, когда топили печь, но тепло недолго держалось в ней.

Далеко не все, знавшие до войны Гитовича, могли понять, почему он, общительный по натуре человек, любящий друзей, шумные споры и застолья, обрек себя на долгое комаровское сидение. Поговаривали, что он, как поэт, дескать, «выдохся» или — что не менее страшно — «надломился» в прошумевших спорах. Эти объяснения обывательские, несерьезные. Конечно, проще всего сказать, что поэт ушел от шума городского потому, что понял, как дорого время и как важно подорванные болезнями силы отдать только работе за письменным столом. Причина, бесспорно, серьезная. С ней не считаться нельзя. Но были и другие.

В конце 40-х годов Гитович оказался объектом несправедливых и необоснованных нападок ряда товарищей-литераторов. Сам всегда резкий в своих суждениях, не очень-то умевший выбирать выражения в спорах, когда речь шла о действительных литературных ошибках или неверной политической позиции автора, Гитович был оскорблен и тяжко переживал нелепые обвинения. Он принял решение — сосредоточить внимание на литературной работе.

А. Гитович с карельскими рыбаками. Порог Вочаж, 1948

Гитович как-то заметил, что «нет одиноких людей… если сами они этого не захотят», но сам не смог преодолеть обиду, хотя страдал от отсутствия непрерывного общения с людьми, не только способными понять, что творится у него на душе, но и оценить только что написанную строку.

В архиве поэта сохранилось письмо давнему другу, так и оставшееся неотосланным. Я процитирую несколько абзацев из него, чтобы напомнить, как важна наша коллективная заинтересованность в судьбе каждого.

В ответ на замечание друга, что главное — писать хорошие стихи, а остальное, мол, дело десятое, он писал:

> «А я нуждаюсь в дружбе больше, чем в похвалах. Это — длительный процесс. Видишь ли, еще с юности дружба с товарищами составляла для меня наивысшую радость в жизни — иногда даже ее наивысший смысл. Так складывался мой характер — сначала дружба с товарищами по профессии, потом дружба с товарищами по фронту. В те годы судьба хорошо ко мне относилась: у меня было много подлинных друзей. Потом, в послевоенные годы, дружба моя с друзьями старыми — постепенно стала несколько ослабевать. Я далеко не сразу понял, что тут имеется много причин — война принесла вслед за собой нечто гораздо более ужасающее, чем бедствия быта, утрату ближних и т. д. Она принесла

в душу многих людей разъедающую власть эгоизма, заботу только о личной судьбе, равнодушие к судьбе других. Люди не получили рая для себя и своей семьи. Тут уж друг не нужен — тут нужен приятель, который может тебе помочь на взаимно выгодных условиях. Таким образом, Хемингуэй трижды прав, сказав в своей бессмертной речи: „…есть вещи и хуже войны — трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже“.

Старый мой друг! Люди, мужчины, которые не знают, что такое подлинная дружба, — могут ли они честно, от сердца говорить о коммунизме? Для нас дружба Маркса и Энгельса — всегда была эталоном дружбы. Но попробуй сказать это некоторым нашим приятелям — они промолчат. Но в глазах их ты ясно прочтешь: брось говорить об этих устаревших, банальных и тривиальных вещах…

Я и бросил говорить им об этом…»

Надо знать характер Гитовича, чтобы понять, как трудно было ему написать такие строки:

Только — ныне и присно —
С наступлением дня
Две синицы корыстно
Навещают меня.

Все чаще к нему приходит образ нелетной погоды:

Мне хорошо знакома,
Помимо прочих бед, —
Тоска аэродрома,
Когда полетов нет.

О, давняя невзгода
Туманов и дождей —
Нелетная погода
В поэзии моей.

И, тем не менее, комаровское житье-бытье было для Гитовича порой напряженной работы. Именно в это время он пишет стихи, свидетельствующие, что талант его достиг новых вершин.

Если попытаться кратко сказать, что это за стихи, о чем они, то лучше всего воспользоваться словами самого поэта: это стихи о

«подвигах души». В стихах об артполке и Средней Азии фон еще нередко заслонял главное. В стихах о войне информация о ратных делах оказывалась по своему содержанию столь яркой, что для главного — показа подвига души, подвига мысли — порой не оставалось «жилой» площади. В послевоенных стихах он часто вспоминает фронт, но теперь его интересуют не боевые эпизоды как таковые. Идет осмысление пережитого, война — лишь своеобразный трамплин, оттолкнувшись от которого мысль устремляется в сегодня и в завтра.

Нам дан был подвиг как награда,
Нам были три войны — судьбою,
И та, четвертая, что надо
Всю жизнь вести с самим собою.

От этой битвы толку мало,
Зато в душе у нас осталась,
Сопротивляемость металла,
Где нету скидок на усталость.

Сложные перипетии этой «четвертой» войны составляют главное содержание последних книг Гитовича. «Четвертая» война идет за торжество того, что в программе партии названо моральным кодексом строителя коммунизма. Ленинские идеи, к которым постоянно обращается поэт, подобно рентгеновским лучам, насквозь просвечивают все, к чему он обращается, и прежде всего — духовный мир человека. Поэт ни на шаг не сходит с позиции, которую он выбрал, вступая в литературу. Это постоянство позволяет ему обрести цельность — поэтическую и человеческую.

Для него поэты — представители армии «воинов справедливости», они должны обладать уменьем видеть «сквозь грим».

Есть мир
Таких понятий и предметов,

Такого самомненья
Торжество,

Что только
Племя грозное поэтов,

Быть может, в силах

Одолеть его.

Когда писались эти стихи, я работал над книжкой о Борисе Лихареве. Естественно, что обратился за помощью к Гитовичу: ведь они были старыми друзьями, и воспоминания Александра Ильича могли бы пригодиться мне для правильного воссоздания обстановки «Смены», их совместной поездки по Средней Азии. Но Гитович говорил о событиях, отстоявших от нас на расстоянии в добрых тридцать лет, так, будто та борьба, которую они тогда вели, не окончилась, а только несколько видоизменилась.

— Знаю, ты, конечно, захочешь писать о борьбе с басмачами, — говорил он. — Что же, это была борьба не на жизнь, а на смерть, и в ней, как на киноэкране, проецировались две главные и непримиримые силы: советская власть, свобода, раскрепощенность души, с одной стороны, и все, что несет капитализм: рабство и угодничество, кровь и слезы, обман и насилие — с другой. Басмачи были лишь статистами. Мы по неопытности приняли тогда статистов за премьеров. А ездивший с нами Юлиус Фучик, в отличие от нас знавший про капитализм не понаслышке, увидел больше нас. Он написал серию очерков о торжестве новой жизни в Средней Азии, и каждый очерк был направлен против главного врага — равнодушия. Он увидел то, что для нас примелькалось, стало привычным, как увидел и холодок у некоторых к нашему великому делу, тот холодок, который потом вывел из наших рядов не одну сотню бойцов.

Обостренное чувство правды двигало Гитовичем, и далеко не всегда оно приносило ему лавры. Наоборот, прямота отпугивала, честное замечание воспринималось как проявление недоброжелательности. Тем не менее, поэт не хотел и не пытался изменить свой характер.

Да, у него не было сил принимать участие в дискуссиях, заседать в редколлегиях журналов. Но он пристально следил за тем, что пишут другие.

Как-то зимой мы с М. Дудиным навестили Гитовича в Комарово. Пришли неудачно: Гитович спал. Но едва мы сошли с крыльца, как за нами кинулась его жена:

— Вернитесь!

Александр Ильич встретил нас в прихожей, затащил в комнату. Он был искренне рад встрече.

Когда-то давно, еще на фронте, он читал мне на память дудинских «Соловьев» и говорил, что талантливость автора «прет» из каждой строки.

Он сохранял доброе отношение к Дудину, хотя теперь

одобрял далеко не все, что писал поэт. Ему казалось, что Дудин торопится печатать стихи, которые еще не перебродили в нем, порой довольствуется не вином, а тем, что грузины называют маджаркой.

— Ты же знаешь, Миша, я люблю твои стихи, — не успев усадить нас, сказал в тот вечер Гитович. Он начал цитировать стихи, несколько дней назад опубликованные в «Ленинградской правде». — Хорошо, — ничего не скажешь, хорошо. Но тем досаднее, Миша, что рядом с отличными стихами — встречается игра в слова.

Вскоре Дудин ушел.

— Обиделся, наверное, — сказал мне Гитович. — Я знаю: обиделся. Мы редко встречаемся, и мне следовало бы помолчать. Но я не могу молчать, когда вижу, что стихи потерпели ущерб от торопливости. А Дудина люблю.

Еще больший протест вызывали в нем стихи неискренние, написанные не потому, что их нельзя было не написать, а потому, что с помощью их поэт рассчитывал как-то устроить свои дела. Таких авторов Гитович открыто презирал.

В стихотворении «Поэту» он заметил:

Ты был правдивым —
Будь еще правдивей,
Здоровьем и болезнью — справедливей,
Будь — чтобы мимо века не пройти —
Архиепископом великой правды:
Теперь тебя читают космонавты,
А с малой правдой им не по пути.

Чувство постоянной ответственности за все происходящее становится главным в поэзии зрелого Гитовича. Живя в Комарове, он как бы день за днем окидывал взглядом прожитое, старался вникнуть в существо явлений, понять природу их. Его стихи — как бы письма другу, диалоги с близкими людьми. Поэт скуп в изображении деталей быта, обстановки, пейзажа. Все подчинено одному — точнее и лаконичнее передать мысль, с большей достоверностью поведать о чувстве. Недаром почти все послевоенные стихи, особенно из числа написанных в Комарово, редко превышают 12–16 строк.

Гитович продолжал жить поэзией, охотно помогал тем, кто к нему обращался, радовался выпуску книг, в которых зазвучали голоса молодых поэтов, погибших на фронтах.

— Майоров, Багрицкий, Коган, Кульчицкий! Поистине пуля — дура, — говорил он мне. — Трудно даже представить, что

могли бы написать эти мальчики, если бы дали им возможность поработать. Уже только за гибель этих поэтов мы никогда не простим фашизм. И после молчания:

— Почему бы тебе не написать о Толе Чивилихине? Ты ведь знал его. Или — о Лебедеве. Не портрет, не исследование, а что-то вроде доверительного разговора с любителем поэзии. Ведь оба ушли, не написав своих лучших стихов. Поэтому можно пригласить читателя вместе подумать и помечтать о том, что было бы… Впрочем, нет, не о том, что было бы. То, что сделано ими, вызывает глубочайшее уважение.

Гитович внимательно прочитал рукопись моей книжки о Лихареве и прислал в издательство рецензию. Несмотря на болезнь, он все-таки зашел ко мне, чтобы поговорить о том, что больше всего волновало его.

— Две страшные вещи подстерегают нас: девальвация поэзии и девальвация веры, — говорил он. — Они где-то взаимосвязаны. Ты посмотри, как сейчас читают поэзию. Моими «Зимними посланиями друзьям» в Доме книги торговали всего один день. А разве я исключение? Книжка в 50 тысяч экземпляров расходится мгновенно. Мне рассказывали, что в Московском дворце спорта 14 тысяч мест, а билетов на вечер поэзии хватило лишь на малую толику любителей поэзии. Поэзия ведет с читателем честный разговор на самые острые темы. Отсюда вера в нее. Но на процентах от этой веры кое-кто пытается заработать себе капитал… Вот почему в наших книжках о поэзии, в статьях и рецензиях мы должны объяснять, что — поэзия, а что — поделка.

Гитович советовал мне исключить из книги о Лихареве некоторые стихотворные цитаты.

— Надо смотреть правде в глаза. Боре приходилось работать в очень сложных условиях. Партизанский край, блокада, газетная поденщина. Не все его стихи одинаково хороши, как и мои, как и любого другого поэта. Но ведь он написал «Соль», «Тол», «Снегиря». Сосредоточь на них внимание. И еще на том, что он никогда не болтался из стороны в сторону, всегда оставался солдатом.

И здесь слово «солдат» прозвучало как высшая похвала поэту. Лихарев был из того славного племени, к которому Гитович причислял и себя и о котором он писал:

В тридцать втором году, в начале мая,
Под знаменем военного труда,
Мы приняли Присягу, понимая,
Что присягаем — раз и навсегда.

И жили мы вне лжи и подозренья,
И друг на друга не бросали тень —
И с той поры глядим с неодобреньем
На тех, кто присягает каждый день.

Этими стихами открывается книга «Зимние послания друзьям». Между нею и вышедшей в 1962 году «Звездой над рекой» пролегло три года. А до этого — длительное молчание, прерываемое лишь публикацией переводов.

Тысячу раз прав Н. Ушаков, утверждавший: «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь».

Книга «Звезда над рекой», составленная наполовину из новых стихов, со всей очевидностью свидетельствовала не только о том, что есть порох в пороховницах, но и о том, что взрывчатая сила пороха значительно увеличилась. Именно в этой книге появились такие важные для Гитовича стихи, как «Старому другу», «Глаза старых большевиков», «Восток-1» и другие. Его стихам стала присуща мудрость, но не та осторожная, ловко перекидывающая мостики из вчера в сегодня, а честная, прямая, не прощающая ошибок. Обращаясь к старому другу, поэт не таит грусти по поводу того, что «вместе выходим на финиш», но именно поэтому важно обдумать «век наш суровый, превратные наши дела». А поразмыслить есть над чем — не ради того, чтобы посыпать соль на старые раны или похвастать содеянным.

Разум моего заката
Проник сквозь грим, и я теперь смотрю,
Смеясь и плача, на свою зарю, —

пишет поэт.

Стихи лишены нудной назидательности (менторство всегда было чуждо поэту), но опыт души — это, по его понятиям, отнюдь не личное, а общее достояние.

«Гармония противоречий приходит только за грозой». Чтобы понять это, надо прожитые годы сравнить не с ворохом оборванных листков календаря. То, что было с каждым из нас, было с народом, со страной. Мы стали старше, иные даже стариками, но мы по-прежнему в строю. «Старость жаждет трудиться: ей некогда время терять», — замечает Гитович. «Я приветствую старость, которая трудоспособна». Старость для него — отнюдь не возрастное понятие, а психологическое. Старость в его понимании — это продолжение молодости, научившейся глубоко осмысливать жизнь.

Вот почему он еще более строг к себе, к другим и прежде всего к друзьям. Ныне, в зрелом возрасте, «неделя дружбы равносильна году, а то и трем, а то и десяти».

Такой с другими,
Может, и не будет:

Не то чтоб
Потерял я интерес,

Не то чтоб
В мире хуже стали люди,

А потому,
Что времени в обрез.

В зрелые годы, обессиленный болезнями, поэт не уступил ни пяди того, что защищал сперва в «Артполку», а потом с оружием в руках на войне. Речь идет о стихах «Из цикла „Восток-1“».

Знаменательно, что, радуясь победе своей страны, славя первого покорителя космоса Ю. А. Гагарина, поэт первые слова обращает к Ильичу:

Не Ленин ли готовил этот час,
Когда соединил рабочий класс
Свой светлый ум и золотые руки…

И в другом стихотворении:

Есть вещий разум в подвиге героя,
Который волей ленинского строя
Держал в руках невидимый штурвал.

Естественно обращение поэта к американцам, которые всегда кичились своим техническим прогрессом.

Померкли над орбитою земной
Перед одной советскою звездой —
Все многочисленные звезды ваши. —

пишет он о «Востоке-1».

В «Зимних посланиях друзьям», книге, как бы примыкающей

к «Звезде над рекой», Гитович прежде всего обращается к своим побратимам. Книга открывается циклом «Солдаты». Но понятие «солдаты» теперь значительно расширилось. Это уже не только однополчане по артполку, и не только фронтовики. Это — все соратники, те, у кого есть «свой корпус, и дивизия, и полк, где мы должны по-прежнему сражаться и жизнь окончить, выполняя долг». Борьба остается естественным состоянием его музы, впрочем, как и для подавляющего большинства его сверстников. Поколение не сломили нелегкие испытания, выпавшие на его долю. Достаточно вспомнить пример Я. Смелякова, Л. Мартынова, Б. Ручьева, К. Кулиева и других. У Гитовича, как оказалось, тоже не было

Времени, чтоб жить обидой
И обсуждать житье-бытье.

«Верен многолетней дисциплине», продолжает начатый поход «караван неторопливых строк».

Где-то за пределами пустыни
Лают псы. А караван идет, —

писал он. Поэт не откладывал в сторону перо, когда ему было что сказать: у него перед глазами был скрепленный «грозной печатью» Совнаркома и ленинской подписью декрет,

Где навсегда запрещено поэтам:
Во-первых — лгать, а во-вторых — молчать.

Всегда хорошо чувствовавший пульс времени, всегда осознававший себя воином, несущим службу в боевом охранении, Гитович сохранил все качества впередсмотрящего. Оценивая сегодняшнее, он все больше задумывался над будущим, вел «бой за грядущее».

В ящике письменного стола Гитовича после его смерти лежало стихотворение, названное «Объяснение верности». Оно действительно очень важно для понимания всего, что делал поэт.

Не все поймут, как мы к победе шли,
Преодолев злопамятные годы,
И отстояли честь родной земли
И знамя старой ленинской свободы;

И, продолжая непреклонный труд,
Мы связаны той клятвою орлиной,
Которую кощунственно зовут
Слепою верой или дисциплиной.

Все чаще поэт обращается к Ленину, к ленинской гвардии — носительнице славных традиций нашей партии:

Людей моего поколенья,
Когда мы детьми еще были,
Незримо воспитывал Ленин,
И мы этих лет не забыли.

Он пишет цикл стихов «Глаза старых большевиков». Глаза ленинской гвардии — это суд совести, грозный и добрый трибунал. Об этом идет речь в стихотворении, посвященном Агриппине Ильиничне Кругловой, члену партии с 1905 года, хорошо знакомой всем ленинградцам. Они избрали ее в народные заседатели.

И глядят, ни с кем не споря,
Зорко, как боец в дозоре,
Перед кем в ночном просторе
Фронтовая полоса, —
Ох глядят! — в глубоком горе,
С ясной мудростью во взоре
Беспощадные, как море,
Доброй женщины глаза…

А. И. Круглова рассказывала мне, что она очень любила беседы с Гитовичем, хотя они далеко не всегда были идилличны.

— У Александра Ильича был острый, колючий, ироничный ум. На первых порах это отпугивало от него, затрудняло общение с ним. Но стоило преодолеть первое чувство настороженности, внимательно прислушаться к тому, о чем он ведет речь, и беседа захватывала, собеседник оказывался интересным, спорщик — многоопытным, и у него было чему поучиться. Уже потом от других людей я узнала фронтовую биографию Гитовича, но и раньше не сомневалась в том, что он всегда вел себя достойно. И еще одно замечу: для меня было большой неожиданностью то, что Александр Ильич — не в партии, и никогда не состоял в ней. Со

мной он говорил как коммунист, и стихи его посвящены борьбе за коммунизм.

Дружба со старыми большевиками, общение с ними были очень дороги поэту. Они помогали ему лучше понять историю партии, государства, не торопиться с оценками разных явлений, иметь перед собой ориентир, который не позволит сойти с правильного пути. К старому другу, кстати сказать и старому коммунисту, К. Демину он обращался с самыми сокровенными словами:

И все же, как надобно смертным,
Еще раз проверим, дружок, —
Горит ли огонь беззаветный,
Который в нас Ленин зажег.

Этот «огонь беззаветный» всегда светил ему, и хотя случалось, поэт ошибался, делал что-то не так, как хотел, ленинский свет оставался для него маяком, помогал преодолеть трудности.

Все эти годы Гитович жил трудно. Болезнь мешала работе, печатался он не часто. Но никогда «бог бескорыстья» не покидал его, никогда он не завидовал баловням успеха, тем, кто пытался нажиться на конъюнктуре. «Наша нищета богаче вашего богатства», — говорил им поэт.

Хотя сам он не часто в последние годы откликался на разные события, тем не менее его комаровские стихи предельно злободневны. Поэт по-прежнему чутко улавливал самое важное, писал об этом, но нередко складывал стихи в ящик письменного стола, отшучиваясь: «Хорошие стихи, как доброе вино, должны отстояться».

Стихотворенье —
Отклик на событье!

Нет, добрый критик мой:
Само оно

Должно быть *фактом*
В нашем общежитье

И праздничным событьем
Быть должно;

Притом внезапным,

А не календарным,

Чтоб от всего
От сердца своего

Поистине
Тепло и благодарно

Откликнулся читатель
На него.

Помню только один случай, когда Гитович очень хотел тотчас опубликовать свои стихи как отклик на событие. Он пришел в Ленинградское отделение «Литературной газеты» и продиктовал по телефону стенографистке двенадцать строк, адресованных «Некоторым американцам». Это были стихи, посвященные Валентине Терешковой.

То было время, когда наши идеологические противники усилили свою активность. Эфир заполняли передачи десятков радиостанций, которые с разной степенью ловкости пытались «просвещать» советских людей. Многочисленные «туристы» пытались провозить в нашу страну антисоветскую литературу, агенты зарубежных разведок заводили знакомства с деятелями советской культуры в надежде, что кто-нибудь клюнет на их удочку. И случалось, им удавалось заполучить какие-то стишки, интервью или письма, которые становились достоянием «общественного мнения Запада», умело использовались в идеологических диверсиях против советского государства.

Я уже говорил о том, как иностранные «туристы» охотились за А. А. Ахматовой. Они не прочь были заарканить Гитовича. Стихотворением «Некоторым американцам» поэт совершенно недвусмысленно давал ответ всем тем, кто домогался завести с ним «дружбу».

Впрочем, таким ответом были все стихи, которые он написал в Комарово и которые были напечатаны в книге «Дорога света».

Всегда достаточно ясные и строго определенные, литературные пристрастия Гитовича в последних стихах обозначились еще более рельефно: после светски вежливого, «европейского» разговора «о рангах Достоевского и Кафки» ему хочется придвинуть «лампу к изголовью» —

Чтобы опять открыть «Войну и мир»
И перейти к душевному здоровью.

Он работал как опытный мастер, отлично чувствующий материал, работал с удовольствием.

Кончился
Праздник работы,
Начались
Будни безделья.

Горожанин до мозга костей, все пытливее всматривался он в нашу неяркую северную природу, открывая для себя ее красоту. «Живая живопись природы» учила его «искусству своему». Впервые в его лирике появляются стихи с названиями, близкими к названиям полотен живописцев: «В смешанном лесу», «Белой ночью», «Зимнее утро», «Зимняя ночь» и т. д. Но при ближайшем рассмотрении чаще всего это не столько стихи о природе, сколько продолжение тех бесед на главные темы жизни, которые были начаты давно. Вот стихотворение «В смешанном лесу». Кто проведет грань между двумя темами, намеченными в стихотворении?

Не знаю, кто, в какие времена
Уговорил их вместе поселиться,
Но дружит краснокожая сосна —
Как равная — с березой бледнолицей.

Для них давно настала, в добрый час,
Торжественного равенства эпоха,
Как бы невольно убеждая нас,
Что быть терпимыми — не так уж плохо.

В последние годы Гитович много думает о ремесле. Об этом свидетельствуют не только стихи, но и записные книжки. Впрочем, это не записные книжки в обычном представлении, а беглые записи отдельных мыслей, сделанные на черновиках, папиросном коробке, на полях свежей газеты. Они как бы служат продолжением стихов или «заготовками» для них. И стихи, и заметки часто рассчитаны на товарищей по перу, особенно на молодых: накопленный опыт должен помочь поэтам, принимающим эстафету. Они лишены прямой назидательности, согреты доброй улыбкой человека, умудренного жизнью.

Когда тебе в былом
Не поддавались строфы —

Размолвка с ремеслом
Казалась катастрофой.

А ведь была она —
Среди сомнений мрачных —
Наивна и смешна,
Как ссора новобрачных.

Теперь его требования к себе, к своей поэзии — строже. Он никогда не протянет руку за близлежащим словом, не оставит строчку, если ее можно заменить одним словом.

Прочитав решения Пленума ЦК КПСС, Гитович как-то записал:

> «Можно расширять посевную площадь. А можно с меньшей площади собирать более богатый урожай. Пленум пошел по второму пути. Так же должна идти и Поэзия».

Для него «с меньшей площади собирать более богатый урожай» значило максимально увеличить смысловую нагрузку строки. Его стихи приобретают все большую афористичность, а строка — емкость поговорки («лебединая песня поэта начинается с первых стихов», «старость жаждет трудиться: ей некогда время терять», «неделя дружбы равносильна году», «глаз — видит правду, ухо — слышит ложь» и т. п.).

В последние годы жизни Гитович много думал о технике стихосложения, о том, что время внесло в законы ее. К сожалению, многие из его набросков, сделанные на клочках бумаги, не удалось сохранить. Очень трудно все это привести хоть в какое-то подобие системы. Но то, что можно прочесть, представляет немалый интерес.

> «Мастерство не есть разум художника, а талант — чувство. Мастерство — это то, что соединяет разум и чувство в одно неразрывное целое.
>
> Технику очень часто пугают с мастерством… Мастерством может обладать только умный художник. Технике может научиться и глупец».

Мысль эта, видимо, не давала ему покоя. Он возвращался к ней снова и снова.

> «Необходимо понять отличие формы от техники.

Очень многие писатели вертелись вокруг понятия Формы и Техники, и никто толком ничего не сказал, начиная от Бунина и кончая Толстым, который, может быть, и сказал бы свое слово, но он вообще не занимался эстетикой.

Техника — есть умение сыграть гаммы. Машина может обладать техникой, но она не может обладать формой.

Что такое правильный рисунок? Это есть техника. Обучить технически ремеслу можно всякого человека, но обучить его форме невозможно. Обладая самой блистательной техникой и только, ты все равно не придешь к форме.

Но для того чтобы обладать формой, нужно все же безупречно обладать техникой.

Если следовать букве и духу марксистской формулы, что форма неотделима от содержания, то это означает их гармонию, и, значит, гармония заключается в том, чтобы ни одно из этих двух начал не превышало другого, т. е. чтобы весы искусства, на которые положены эти гири, даже не дрожали бы — настолько точно равновесие гирь.

Я уверен, что, конечно, невозможно доказать, что имело превалирующее значение в „Подражании Корану“.

Когда говорят: „противопоставляют форму и содержание“ — это на самом деле противопоставляют содержание не форме, а технике, потому что они не имеют понятия о форме».

А рядом с этими записями, — перемежая их, — строчки стихов. И все они — о главном, о том, без чего не мог жить поэт.

Мне на днях предъявили угрюмый упрек —
И казалось бы, выхода нету:
Будто все, что я в сердце скопил и сберег, —
Только вам выдаю по секрету.

Если правильно люди о том говорят,
Значит, надо условиться вместе,
Что Поэзия — это секретный доклад
На всемирном читательском съезде.

Он никогда не забывал о своем читателе, не имел привычки, готовя новые издания, переделывать что-то в старых стихах.

— Читатель должен видеть путь, пройденный поэтом, —

говорил он мне, когда мы обсуждали состав его однотомника для Лениздата. — Переписывать, изменять акценты, править налево и направо — занятие рискованное. Можно что-то отшлифовать, исправить ошибку, но переписывать — кому это нужно? Мы читаем пушкинские лицейские стихи, потом его же стихи, написанные к годовщине выпуска, и видим, как шло созревание пушкинского гения. А попробуй исключить юношеские стихи, хотя они слабые по сравнению с остальными. Что-то очень важное будет потеряно в нашем представлении о поэте. Вспомним Саянова, он выправил многие свои стихи, которые мы еще в двадцатые годы знали наизусть. Книжка сразу стала хуже, Саянов предстал перед читателем зализанным, а стихи его утратили аромат времени.

Для лениздатовского сборника Гитович сперва отобрал стихи, которые меньше всего печатались. Он принес рукопись незадолго до поездки в Армению, а накануне отъезда зашел спросить мнение. Книжка была собрана не лучшим образом. Стремление полнее представить все ранее вышедшие книги привело к тому, что оказались слабо обозначены вершины, которых он достиг. В рукописи было немного лучших стихов, особенно из числа написанных в последние годы. Вернувшись из Армении, он представил в издательство почти заново выстроенную книгу.

Ему не довелось увидеть ее в готовом виде, с крылатым конем на обложке, устремленным в неведомые края. Вперед был нацелен и сам поэт, всегда, даже в дни, когда в его поэзии бывала «нелетная погода». Он не уставал думать о том, что нужно сделать завтра, чтобы лучше, проще выразить мысль.

Как каждый настоящий поэт, он считал себя полководцем («армия поэтов-пехотинцев невозможна и не нужна»). Что же касается стихов, то он мечтал, чтобы они до конца послужили нашему великому делу. Он написал коротенькие восьмистрочные «Стихи неизвестных поэтов». Сегодня они прочитываются как завещание:

Неведомых художников холсты,
Внезапно получившие признанье,
Музеи копят в громе суеты,
Чтобы пополнить пышное собранье.

Но неизвестных стихотворцев труд,
Стихи, рожденные для долгой жизни, —
Их ни в какой музей не продадут:
Они давно *подарены* отчизне.

Все свои стихи — стихи пронзительной искренности и подлинной высокой партийности — Александр Гитович подарил Отчизне, и новые поколения читателей будут обращаться к ним, чтобы узнать, чем полнилась душа людей, живших в двадцатом веке, проложивших железные дороги в пустыне, звездные трассы в космосе, победивших фашизм и любивших слушать, как в весеннем лесу лопаются почки…

notes

Примечания

1

Имеется в виду медаль «За отвагу».

2

Дао — буквально: путь. Здесь слово обозначает и путь, и более широкое понятие — основу существования мира.